



И.И. Панаев

*Сочинения*



Иван Иванович Панаев

## **Провинциальный хлыщ** (Опыт о хлыщах)

«Мне было тринадцать лет, когда меня решили отдать в Благородный пансион. День отъезда моего из дома останется незабвенным в моей жизни. Карета уже была заложена и стояла у крыльца. Маменька, в шляпке с цветами, весело разговаривала с приживалкой в зале, где собралась вся наша дворня: лакеи, горничные, казачки, судомойки, поломойки и проч. провожать меня...»

# Содержание

I. Детство . . . . .	0005
II. Молодость . . . . .	.0044
III. Зрелый возраст . . . . .	.0090
IV. Закат . . . . .	0125

**Иван Иванович Панаев**  
**Провинциальный хлыщ**

# I. Детство

Мне было тринадцать лет, когда меня решили отдать в Благородный пансион. День отъезда моего из дома останется незабвенным в моей жизни. Карета уже была заложена и стояла у крыльца. Маменька, в шляпке с цветами, весело разговаривала с приживалкой в зале, где собралась вся наша дворня: лакеи, горничные, казачки, судомойки, поломойки и проч. провожать меня. Я стоял, совсем уже готовый к отъезду, возле моей старой няни, которая заливалась слезами и от времени до времени целовала меня, произнося задыхающимся голосом: «Голубчик ты мой!» Сердце мое болезненно билось, слезы беспрестанно выступали на глаза. Мысль, что я расстаюсь с родным кровом, со всем, близким мне, с моим добрым дедушкой, с няней; что я не буду ночевать в своей комнате, на своей постели, под своим одеялом, не увижу кота Ваньку, мурлыкающего против на лежанке, — все это вместе казалось мне ужасным, и я едва удерживался, чтобы не зарыдать вслух. Дверь из кабинета в залу отвори-

лась, и на пороге появился дедушка. На нем был фрак со стоячим воротником, белый галстук, рубашка с манжетами, панталоны, застегнутые у колен пряжками, и сверх белых чулок высокие сапоги; волосы его были тщательно причесаны по старинной моде и напудрены. Светлое лицо его, полное кротости, любви и доброты, было серьезнее обыкновенного. Дедушка, как будто не замечая никого, прямо подошел ко мне, обнял меня, крепко поцеловал, перекрестил и произнес: «Господь с тобою! учись прилежно, этим ты утетишь свою мать и меня... В субботу я сам за тобой приеду...» И он еще раз поцеловал и перекрестил меня. Все на минуту присели и потом поднялись. Няня начала укутывать меня, не выдержала и зарыдала. Все люди смотрели на меня жалостливо. «Полно, няня, полно, – говорил дедушка, – как тебе не стыдно! Ведь я через шесть дней привезу его тебе... О чем плакать?» Но голос дедушки несколько дрожал, на глазах его также показались слезы, хотя он старался удерживать их и улыбался своей привлекательной, симпатичной улыбкой... Я целовал руку дедушки и как ни крепился, а

мои слезы крупными каплями падали на его морщинистую руку.

– Ну, поедем, мой друг! – сказала маменька, вытирая глаза платком. – Простись со всеми людьми.

Я кланялся им, всхлипывая; они кланялись мне; некоторые из женщин плакали; появился и кот Ванька, который также смотрел на меня как-то жалостливо. «Простись с Ванькой-то, батюшка!» – сказала мне няня, утирая слезы. Я наклонился к Ваньке, погладил и его поцеловал. Дедушка надел шубу и шапку и вышел провожать меня на крыльцо; за ним двинулась вся дворня. Няня не выпускала моей руки до той минуты, когда я занес ногу на ступеньку кареты.

– Няня, няня! – кричал дедушка, – поди в комнату. Ты простудишься: ты в одном платье.

Но няня не слышала ничего. С выбившимися из-под платка седыми волосами, с глазами, распухшими от слез, она не спускала глаз с окна кареты, в которое глядел я, делала мне различные приветливые знаки, крестила меня и кричала мне:

– Шейку-то закрой, батюшка, шейку-то!  
у тебя шейка открыта.

Дедушка также все смотрел на меня, улыбался и кивал мне головой.

Карета двинулась... Я в последний раз высунулся из окна. Людей уже никого не было. На крыльце оставались только дедушка и няня, – дедушка, осенявший меня крестным знамением, няня, кричавшая мне в совершенном отчаянии: «Прощай, голубчик ты мой! прощай, родной ты мой!»

У меня замерло сердце, и я упал головою к коленям, зарыдав и залившись слезами.

На полдороге, когда я пришел в себя и вытер глаза, маменька поцеловала меня и сказала:

– Ну, перестань! полно... хорошо ли, приедешь в пансион с распухшими глазами? Ведь над тобой все будут смеяться. И о чем так плакать, я не понимаю! Ведь не вечно же тебе сидеть с дедушкой и нянькой... Тебе уж, кажется, пора отвыкать от няньки. И тебя отдадут не в какую-нибудь народную школу: ты вступишь в пансион, где все дети богатых и знатных отцов, все генеральские, графские и кня-



жеские дети; тебе должно быть приятно иметь таких товарищей. Эта мысль должна утешать тебя. Старайся понравиться товарищам, заслужить их любовь. Это может быть тебе полезно со временем.

Маменька вздохнула и прибавила как будто про себя:

– В жизни главное – хорошие знакомства и связи.

Когда мы вышли из кареты и всходили на лестницу к директору, с семейством которого маменька уже предварительно познакомилась, с лестницы навстречу нам сбегал мальчик лет пятнадцати, мой будущий товарищ, с белым, румяным и круглым лицом, с карими масляными глазками, с волосами, густо напомаженными и тщательно приглаженными, в форменном собственном сюртуке очень тонкого сукна, с перетянутой талией.

Маменька остановила его вопросом:

– Позвольте вас спросить, миленький, господин директор дома?

Мальчик очень ловко раскланялся и отвечал:

– Дома-с; я сейчас только от него.

– А я вам привезла нового товарища, – продолжала маменька с любезною улыбкою, – это сын мой. Полюбите его.

Мальчик взглянул на меня, наклонил голову, улыбнулся, вынул из кармана тонкий платок, который пахнул духами, поднес его к носу, пробормотал: «очень рад-с», еще раз раскланялся маменьке и побежал.

– Какой прелестный мальчик! – заметила маменька, – и какие у него манеры! Вот тебе образец. Сейчас видно, что это благовоспитанное дитя, из хорошего дома.

Мальчик действительно в первое время моего пребывания в пансионе был для меня образцом к удовольствию моей доброй маменьки.

Фамилия его была Летищев – фамилия не совсем аристократическая, но он имел довольно важное, хотя отдаленное родство с материной стороны. Маменька его причиталась троюродной сестрой одному графу, занимавшему значительную должность при дворе, которого она называла всегда кузенком.

Отец Летищева умер в чине гвардии полковника, за несколько лет до вступления сы-

на в пансион, оставив в наследство жене и сыну огромные долги. Г-жа Летищева по смерти мужа, несмотря на затруднительные обстоятельства, не стесняла образа своей жизни. Когда, говорят, один из родственников ее мужа, вошедший в ее дела по ее просьбе, решился деликатно заметить ей, «что если все опять пойдет так, то может кончиться худо», она захохотала, измерила его с ног до головы и сказала:

– Например? что вы понимаете – худо?

– Да векселя будут представлены ко взысканию, имение продано с аукционного торга, вы останетесь ни с чем, и, может быть...

– Что же может быть?

– Вы меня извините, но может кончиться тем, что вас посадят в тюрьму.

– Меня? в тюрьму? – воскликнула она. – Это мне нравится! Во-первых, кто же сажает порядочных женщин в тюрьмы? Сажают бродяг... вон что ходят по улице. А к тому же я – вы, верно, не взяли этого в соображение – по рождению графиня Каленская... Александр Федорыч мой... cousin...

– Все это я знаю, – возразил родственник, –

все это очень хорошо, но только закон не берет ничего этого в соображение.

– Какой закон! Что такое? Бог знает, что вы говорите! Позвольте мне вам сказать, что все порядочные люди в долгу, как в шелку, однако ж все, слава богу, живут, дают балы, выезжают, и никого не сажают в тюрьмы...

После таких убедительных возражений рассуждать было нечего: родственнику оставалось только раскланяться родственнице и оставить ее в покое. Он так и сделал. Все это я узнал впоследствии. В пансионе же мы считали Летищева страшным богачом, потому что он уезжал из пансиона и приезжал в пансион в карете четверней на вынос, привозил из дому множество конфет и разных сластей, рассказывал о том, какой у маменьки бывает приезд, сколько у дяденьки-графа орденов, звезд и комнат, как дяденька его любит, и проч., причем прибавлял, что у дяденьки нет наследников и что маменька говорит, что он будет дяденькиным наследником. Некоторые товарищи не совсем доверяли Коле Летищеву, особенно касательно его дяденьки, зная привычку Коли все несколько преувеличи-

вать и пускать пыль в глаза; но когда однажды сам дяденька во всем блеске и во всех украшениях явился в пансион, произведя величайшее смущение и суматоху, и, потрепав племянника по щеке, отдал ему, в присутствии директора и столпившихся кругом учеников, билет в ложу и произнес:

— Вот тебе, Федя, ложа в театр. Пригласи своих товарищей. Г. директор отпускает вас на сегодняшней спектакль, по моей просьбе.

После этого никто уже в пансионе, начиная с директора до последнего сторожа, не сомневался, что Летищев его наследник, и не только начальство, даже многие из товарищей начали поглядывать на Летищева как-то иначе, гораздо приветливее, а сторожа обнаруживать перед ним большую угодливость и вежливость.

Коля после дяденькиного визита возмечтал о себе ужасно; его смущало только одно, что граф назвал его при всех Федей, вместо Коли, и дал повод некоторым товарищам подтрунивать над тем, что дядя не знает его имени, что он, верно, видит его в первый раз в жизни, и тому подобное.

Впрочем, к Коле и приставали умеренно. Все – не то, чтобы любили его, а так, чувствовали к нему особое приятное расположение, бессознательно образовавшееся вследствие четверни на вынос, приезжавшей за ним в пансион, его тонкого собственного сюртука, склянки духов и банки с помадой, которые лежали в шкапчике у его постели, вместе с щеткой из слоновой кости, и знатного родственника с украшениями.

Коля не отличался ни особенными умственными способностями, ни большим прилежанием; но он имел дар показываться всегда на первом плане. Он вдруг брал смелостью то, что другие приобретали постепенно усиленными трудами. Он озадачивал и приводил в совершенное смущение учителей. Когда доходила очередь до него, он вскакивал со своей скамейки, с самоуверенностью отрезывал урок без остановки, не запнувшись ни на одном слове, и, не давая учителю времени опомниться, садился на скамейку торжествующим. Учитель после минуты сомнения покачивал обыкновенно головою и ставил ему хорошие баллы. После классов Коля умел

очень ловко вступать в разговор с учителем и вставлять в этот разговор имя дяденьки-графа. Вследствие всего этого Коля, плохо учившись, умел прослыть прилежным учеником, и его ставили в пример товарищам, которые были во всех отношениях несравненно лучше его. Директор звал его не иначе, как Николаем Андреичем, а директорша, величайшая охотница до танцев, была от него в восхищении, потому что на ее танцевальных вечерах, которые бывали довольно часто, Коля отличался, как большой, угождал ей и ее дочерям, любезничал с дамами и танцевал, как никто...

– Что это за чудный мальчик! – хором твердили обыкновенно гости директорши, жены учителей, гувернеров и инспекторов. – Нельзя налюбоваться им.

– О, да! и притом говорит по-французски, как француз! Он пойдет далеко, – замечала директорша, – и немудрено: он родной племянник и наследник графа Каленского... Притом он один сын у матери, которая обожает его. Ах, какая она милая дама и притом с каким богатством, с каким вкусом одевается!..

Что мудреного: она ездит ко двору, она была фрейлиной... У нас много княжеских и графских детей, но Колю Летищева ведут так, что он ни в чем не уступит ни графским, ни княжеским детям. Его еще лучше держат.

– Он, – замечала при этом инспекторша, – я слышала от ихней компаньонки, Луизы Ивановны, дома носит не иначе, как батистовое белье...

Колю не жаловали только те, очень, впрочем, немногие из товарищей, которые на аристократов поглядывали вообще мрачно. Эти немногие причисляли к аристократам вообще всех тех, которые говорили по-французски, занимались своим туалетом и имели, как говорится, хорошие манеры. Один из этих преследователей аристократии, молодой человек, коренастый и косой, которому на вид можно было дать лет двадцать, ужасно перепутал однажды Колину маменьку. Он был в приемной комнате в ту минуту, когда она приехала и прямо вошла в эту комнату, вся в соболях и в бархатах.

– Вызовите мне, пожалуйста, моего сына, – произнесла она по-французски, обращаясь к



нему.

Ученик, ненавистник аристократов, взглянул исподлобья своими косыми глазами на барыню в соболях и бархатах, сжал свои кулаки, что он делал только в минуты совершенного замешательства, и произнес густым басом:

– Кё?

Барыня чуть не упала в обморок при этом кё и при этих кулаках; но, к счастью, в эту минуту вбежал директор, узнавший о ее приезде. Директор, грозным голосом и страшно нахмурясь, закричал на косоного ученика:

– Что вы здесь делаете? Подите вон!..

И бросился с низкими поклонами и приятнейшими улыбками к барыне, мгновенно изменив свой грубый голос в самый мягкий и вкрадчивый.

– Quelle horreur! – произнесла Колина маменька, приходя в себя, – как он меня перепугал! Неужели это ваш воспитанник – товарищ моего сына?..

– Да-с, что делать! К сожалению, – отвечал директор с глубоким вздохом, – это какой-то Митрофан, прямо привезенный к нам из де-

ревни.

– Ты, пожалуйста, мой милый, – повторила она потом своему сыну, – держи себя подальше от этого страшного вашего ученика, который говорит кё... Это какое-то чудовище... И какой он ученик? ему пора жениться.

Коле, впрочем, не для чего было делать эти наставления, потому что Коля и без того держался в кругу самом избранном, т. е. между товарищами с именами и с деньгами. Что же касается до косоного ученика, произнесшего кё, то он вовсе не был так страшен, как полагала Колина маменька; кроткий, трудолюбивый, прямой и честный по натуре, он не мог выносить только одного: когда видел, как некоторые из его товарищей ухаживали за аристократами, льнули к ним, сияли счастьем, прохаживаясь с ними под руку по коридорам, в виду всех. При таком зрелище косоного ученик всегда плевался и произносил:

– Ах, подлипалы поганые, сволочь!

Большая часть товарищей смотрели на него, как на юродивого. Ученики низших классов бегали за ним и дразнили его: показывали ему языки, корчили гримасы, дергали

его за фалды, и тогда, выведенный из терпения, он схватывал первого попавшегося ему под руки и начинал его так ломать, что у бедного только кости хрустели. Оттого он получил прозвание костолома; но у этого костолома было самое мягкое и нежное сердце: раз, когда, играя в лапту, он нечаянно хватил палкой по носу одного ученика и чуть не проломил ему кости на носу, он притворился больным, чтобы вместе с ним идти в больницу; в течение месяца не отходил от его постели, ухаживал за ним, как сиделка, изменился, похудел и чуть сам не слег в постель, успокоясь только тогда, когда подбитый им товарищ начал выздоравливать.

Однажды во время гулянья – это было в половине августа – после каникул, воспитанники играли, бегали и ходили по широкому двору, усыпанному песком и обнесенному липовой аллеей. На этом дворе, между двух выдавшихся флигелей, расположен был небольшой садик с клумбами цветов – фантазия инспектора, имевшего большие наклонности к садоводству. Косой ненавистник аристократов, Скуляков, которого, кроме костолома, товари-

щи звали также Кулаковым, занимался копанием грядки: земляная работа была его страсть. Некоторые из его врагов аристократов и между ними Коля прогуливались под руку по дорожкам садика. Коля нечаянно, а может быть и с намерением, проходя мимо Скулякова, толкнул его и, не обращая на него внимания, прошел дальше. Скуляков воткнул лопатку в землю, скосил глаза более обыкновенного и закричал Коле:

– Эй вы, послушайте! что вы толкаетесь-то?

Коля продолжал идти, не удостоив даже обернуться на эти слова.

Скуляков побледнел, сделал несколько шагов ему навстречу и остановился прямо перед ним. Коля взглянул на него, изменился в лице, но старался принять на себя вид беззаботный и равнодушный.

– Я вам говорю, как вы смее толкаться! – повторил Скуляков.

– Извините! – пробормотал Коля небрежно, взглянув с улыбкою на товарища, с которым прогуливался, – я нечаянно, я вас вовсе не заметил, – и сделал шаг вперед, чтобы продол-

жать свой путь.

Скуляков загородил ему дорогу.

– Вы думаете, – продолжал он, – что у вас тонкий сюртук, что вы душитесь и помадитесь, да височки прилизываете, да хвастаетесь своим дядей, да по – французски болтаете, так вы можете толкаться, не извиняясь... а это на что? – Скуляков засучил рукав своего сюртука, сжал посиневший от синего казенного сукна свой огромный кулак и подставил его перед глазами Коли. – Видите?

На эту сцену сбежалось несколько любопытных, как обыкновенно водится в таких случаях. Коля сказал:

– Что ж, вы воображаете, что испугаете меня, что ли, вашим кулаком?

– Да уж я там не знаю, а я вот только что вам скажу... вот все будут свидетелями. – И Скуляков обвел своими косыми глазами собравшихся. – Если только вы когда-нибудь посмеете сделать мне какую-нибудь грубость, то я вам кости переломаю... слышите? Недаром же вы зовете меня костоломом... Помните же!

Произнеся это, Скуляков обернулся назад, очень спокойно возвратился к своей грядке,

взял лопатку и продолжал свою работу.

Коля был несколько минут после этого в страшном волнении. Он вышел из садика, сопровождаемый двусмысленными улыбками свидетелей этой сцены; видел эти улыбки, и самолюбие его было страшно уязвлено, тем более, что Скуляков, несмотря на свои лета, был ниже его классом. Коля выходил из себя, ужасно горячился и через минуту после этого, в своем классе, ударив рукою по столу, закричал:

– С этим мужиком я не мог ничего сделать... Ведь нельзя же мне связываться с ним, когда он лезет с кулаками... Если бы у меня была шпага или пистолет – это другое дело. Но это ему не пройдет даром: я вам даю честное слово, господа, что после выпуска я буду с ним стреляться.

И Коля, говоря это, расхаживал по классу петушком, вздирал голову кверху, гордо улыбался и корчил совершенного героя. Воображение успокоило несколько его самолюбие. Однако после этого он вообще старался избегать встреч со Скуляковым, а при неизбежных встречах очень осторожно обходил его и

при этом даже несколько смягчал выражение своего лица. После этой сцены Коля, впрочем, несколько понизился во мнении товарищей, а на Скулякова даже и некоторые из аристократов начали посматривать иначе и вели себя в отношении к нему гораздо осторожнее.

Ко мне Коля чувствовал расположение, хотя посматривал на меня свысока, как воспитанники старших классов обыкновенно смотрят на младших. Он протезировал меня, вероятно, потому, что видел мои усилия подражать его манерам, походке и прическе. Коля был только двумя годами старше меня; но эти два года неизмеримо разделяли нас. Ему было уже шестнадцать лет, и он подбривал пушок, едва показывавшийся на его усах, когда раз в субботу, перед роспуском, он подошел ко мне и сказал:

– Если вас отпустят завтра из дому, приезжайте ко мне обедать. У меня обедают наши – князь Броницын и еще кое-кто... Отпроситесь из дому. Я вас познакомлю с маменькой.

Я отвечал:

– Непременно буду.

Непременно я не мог сказать, потому что

еще не совсем был уверен, отпустят ли меня; но это слово невольно сорвалось у меня с языка, потому что я хотел показать, что уже не ребенок и пользуюсь некоторою независимостью.

Отправляясь домой, я все мечтал о следующем дне; но при мысли быть представленным Колинъкиной маменьке, которая на вид была такая гордая, робость овладела мной, и желание быть у Коли начало бороться во мне с этою робостью.

Я объявил дедушке и маменьке о полученном мною приглашении, упомянув, между прочим, имя князя Броницына.

Дедушка, выслушав меня, посмотрел на меня очень пристально, и, когда я кончил просьбою отпустить меня, он произнес своим мягким голосом, потрепав меня по плечу:

– Если тебе очень хочется, дружок, пожалуйста; но ты лучше сделал бы, если бы остался с твоим стариком-дедушкой.

– Нет... почему же ему не ехать? отпустите его, папенька! – возразила маменька, – надо же привыкать ему быть в хорошем обществе, приобретать манеры, развязность...



Дедушка едва заметно нахмурился.

– Какие манеры, матушка? – перебил он, – ему надобно прежде всего думать об ученье, а не о манерах. Какие это манеры у вас, я не понимаю!

Маменька замолчала, но, как мне показалось, несколько иронически взглянула на дедушку и улыбнулась.

Однако маменька поставила на своем, потому что дедушка на другой день утром, когда я с ним поздоровался, поцеловал меня и объявил, что я могу ехать обедать к товарищу.

Маменька, вообще мало занимавшаяся мной, перед отъездом сама одевала меня с величайшею заботливостью, входила в мельчайшие подробности моего туалета: завивала, помадила и расчесывала мне волосы и даже дала мне свой батистовый платок и надушила его своими духами, чего прежде никогда не случалось.

– Смотри же, – сказала маменька, когда я был уже совсем готов, – веди себя хорошенько и будь как можно ласковее и предупредительнее со всеми.

Я поцеловал ее ручку. Она приятно улыб-

нулась и с некоторою гордостью осмотрела меня с ног до головы.

Колинькина маменька жила, сколько я припоминаю, что называется, на барскую ногу: ковры, бронзы, ряд комнат, люди в ливреях и проч.

Коля встретил меня радушно и повел к ней. Она, в изысканном и нарядном туалете, сидела в угольной небольшой комнате, уставленной цветами и решетками, обвитыми плющом. Окруженная плющом, на возвышении, в больших готических креслах с резной спинкой, она имела недоступность и торжественность, от которых у меня сжалось сердце. Одна ее рука, вся в кольцах, шевелила листами какой-то книжки в раззолоченном переплете, которая лежала перед нею на маленьком столике.

Коля подвел меня к возвышению и представил ей.

Она приподняла голову, взглянула на меня, обнаружив на лице движение вроде улыбки, и произнесла по-французски:

– Мой сын мне говорил об вас...

Потом обратилась к Коле:

– Поди сюда, Коля! Коля подошел к ней. Она посмотрела на сына в лорнет.

– У тебя волосы дурно лежат, мой друг!

И с этими словами она пригладила ему височки и в то же время шепнула что-то.

Коля сошел с возвышения и сел возле меня.

Наступила минута молчания, после которой она повела на меня глазами и спросила:

– Ваши родители живут здесь, в Петербурге?

– Здесь-с.

– А!..

После этого «а!» опять последовало молчание, скоро, впрочем, прерванное приходом какого-то адъютанта, который только и делал потом, что побрякивал шпорами, крутил усы и смотрел, щуря глаза, в висевшее против него зеркало. По-видимому, это был родственник или очень близкий человек в доме. Колянькина маменька звала его Пьером.

– Какая это у вас книга? – спросил ее адъютант, входя на возвышение и садясь против нее.

– Это? (разговор был на французском языке)

ке). Что за вопрос? Разве вы не знаете, что это книжка, с которой я никогда не расстаюсь; это мой милый Ламартин. Это поэт, каких немного! У него все – гармония стиха, нравственные мысли, и к тому же, читая его, чувствуешь, *que c'est un gentilhomme!*

– Это правда, – заметил адъютант, крутя усы.

– Ну, а что ваш французский учитель говорит вам о Ламартине?

Она взглянула на сына.

– Да-с, он упоминает и о нем, – отвечал Коля, – но у нас больше говорится в истории литературы о Корнеле и Расине.

– О Корнеле? да, это прекрасно! По моему мнению, молодые люди должны быть воспитаны непременно на Корнеле и на Ламартине: Корнель внушает высокие понятия о чести, а Ламартин – религию... Не спа, Пьер?

Пьер кивнул головой в знак согласия.

Я очень внимательно и с большим любопытством смотрел на Колинькину маменьку, и она так сильно врезалась в моей памяти, как будто теперь передо мною, хотя я видел ее потом не более трех или четырех раз.

Ей было лет сорок; она была высока и стройна. Черты лица ее были некрупны и тонки: небольшой орлиный нос, серенькие глазки, брови несколько дугой. Она – я сообщаю это теперь по воспоминаниям – должна была смолоду производить большие победы, и ей, видно, нелегко было расставаться с молодостью, потому что следы разрушающего времени она тщательно и очень искусно замазывала, закрашивала и затирала, подцвечая себя всевозможными косметическими средствами. Об этом сообщил нам Коля, который иногда в сердцах на маменьку за отказы в деньгах очень метко подтрунивал над нею. Коля вообще не отличался скромностью. Чуть не всему пансиону было известно, что его маменька сидит всякий день по три часа за туалетом и, кроме своих нарядов, ничем не занимается. Перечисляя насмешливо ее наряды, Коля в то же время имел и другую цель: прихвастнуть богатством маменьки и ее роскошью.

Смотря на эту барыню, разговаривавшую с адъютантом (я это живо помню), меня поразила, между прочим, ее странная и ненату-

ральная манера говорить и какое-то неловкое и принужденное выражение ее лица во время разговора. Причину этого мне объяснил князь Броницын, который, несмотря на ее особенное внимание к нему, отлично ее передразнивал: у г-жи Летищевой верхний ряд зубов совсем сгнил и искрошился, и, чтобы не обнаружить этого, она, во время разговора, постоянно держала верхнюю губу неподвижной, шевеля только нижней.

В то время, как речь от Корнеля и Ламартина круто повернула к городским новостям и сплетням, в соседней комнате слышались чьи-то шаги. Коля заглянул в дверь.

– Вот и Броницын! – сказал он, взглянув на меня, и потом, обратясь к матери, вскочил со стула.

– Матан, князь приехал.

– Аа! – произнесла она, слегка пошевелив головой. – Его товарищ, князь Броницын, – заметила она, обратясь к адъютанту, который загнул голову назад, чтобы посмотреть на вошедшего.

Броницын был недурен собой, очень развязен и так же, как и Коля, корчил уже молодого

го человека совершенных лет. Сравнительно с ними я чувствовал себя ребенком, стыдился этого и завидовал им.

Г-жа Летищева пожала Броницыну руку, с большою приятностью улыбнулась ему, спросила его о здоровье князя, его отца, княгини-матери, все время обнаруживала к нему исключительное внимание и за обедом посадила возле себя.

Разговор казался очень одушевленным. Более всех говорила сама хозяйка. Я слушал внимательно; но из всего, что говорили, осталось у меня в памяти только пять слов: князь, бал, граф, графиня, княгиня.

Я во все время чувствовал страшное стеснение и неловкость; два раза зацепился за ковер и чуть не упал; отвечал на вопросы невпопад, боясь сделать ошибку по – французски, и внутренне завидовал развязности и смелости князя Броницына, который так и заливался на французском языке.

Вскоре после обеда хозяйка дома исчезла и явилась только к семи часам, в другом туалете, еще более блистательном, с прибавлением новых пуколек, брошек, кружевцов и браслет

и распространяя на несколько шагов кругом себя благоухание лесной фиалки.

– Я еду в театр, – сказала она, натягивая перчатку. – Je vous laisse, mes enfants, amusez-vous bien...

– Какой у вас прекрасный туалет! – перебил Броницын, глядя на нее, – и как он идет к вам!

Она улыбнулась приятно, несколько прищурив глаза. Броницын поцеловал ее руку и, как мне показалось, что-то шепнул ей. Она прикоснулась осторожно двумя пальчиками к его уху, произнесла вопросительным тоном «Paul?» еще раз и еще приятнее улыбнулась ему и потом погрозила пальцем.

Адъютант между тем смотрелся в зеркало и поправлял свои волосы. Школьник совершенно затмил в этот день адъютанта своею любезностью и ловкостью, так что он только время от времени поглядывал на него иронически, покручивая усы. В нашем мнении Броницын возвысился после этого еще более.

– Господа! ну, теперь ко мне! – закричал Коля, подпрыгнув, когда маменька уехала.

Кроме Броницына и меня, у Коли обедали



еще два или три наших товарища из старших классов.

Мы все побежали в Колину комнату, и Броницын впереди всех, напевая:

Amis, il est une coquette Dont je redoute ici les yeux,  
Que sa vanite qui me guette, Me trouve toujours plus joyeux. Коля закричал:

– Вина!

Человек принес нам бутылку мускат-люнеля и бисквиты, и школьная попойка началась. У меня от одной рюмки закружилась голова; но товарищи мои, которые пили очень усердно и потребовали другую бутылку, стали смеяться надо мной, когда я отказался от второй рюмки, и принудили меня пить, щеголяя друг перед другом, кто кого перепьет.

– Господа! – сказал Броницын, поднимая свою рюмку, – за здоровье военных!

– Bravo! ура! – закричали все, и я вслед за другими.

– А знаете ли, что я скоро расстанусь с вами, любезные друзья? – продолжал Броницын, – я перехожу в школу, в кавалергарды. Стоит ли у нас кончать курс, и для чего? Я ни за что не хочу быть рябчиком...

– Я тоже, я тоже! – крикнул Коля, – ни за что! Я не расстанусь с тобой, Paul: мы вместе выйдем. К тому же и татап непременно хочет, чтобы я вступил в кавалергарды. Я прослужу несколько времени в полку, а потом мой дядя граф Каленский возьмет меня в адъютанты. Он уже обещал татап... Господа! я вам предлагаю тост за кавалергардов!

– Tres-bien, bravo! – воскликнул Броницын.

И все мы снова и сильнее прежнего стали кричать: «Браво! ура!..» и топтать ногами.

Товарищи мои долго продолжали еще шуметь, петь, кричать, болтать о лошадях, о военных формах и еще о чем-то. Все это мне представлялось неясно. Я сидел молча. У меня в глазах было мутно и голова кружилась. Я чувствовал, что не могу стоять твердо на ногах, что не могу сделать двух шагов не пошатнувшись... Обводя кругом комнату, я остановился на часах, висевших на стене: нам оставался только один час до пансиона. Две мысли: «что, если бы меня увидел в таком виде дедушка?» и «как я явлюсь к директору?» – привели меня в ужас. Сердце мое сильно забилось при этом; я вскочил со стула, попробо-

вал пройтись, чтобы удостовериться, могу ли я ходить, сделал два шага, но меня откинуло в сторону к дивану, голова закружилась еще сильнее, и я незаметно упал на диван, вдруг потеряв всякое сознание.

Я очнулся от неприятного ощущения холода и дрожи, почувствовал, что по лицу моему течет что-то... и открыл глаза. Товарищи, чтобы привести меня в чувство, смеясь, обливали мне голову холодной водой...

Как мы отправились потом в пансион, как представились директору – этого я не помню; но как никто из нас не был наказан, из этого я заключаю, что мы явились довольно в приличном виде. Я один только на другой день заплатил дань этой первой попойке, занемог и отправился в больницу.

Летищев и князь Броницын, действительно, через полгода вышли из пансиона. После этого я видел Летищева всего раза четыре. Он приходил к нам в пансион, раз вместе с князем, а потом один, в мундире, в каске, звеня шпорами и гремя палашом, – явно только для того, чтобы щегольнуть собой перед старыми товарищами. Мы все с любопытством и уча-

стием окружали его... Коля немного важничал и ломался перед нами, рассказывая нам, что его дядя дарит ему лошадь в шесть тысяч (тогда еще считали на ассигнации), что мать дает ему двадцать тысяч на первое обзаведение, что лошадь его будет одна из первых в полку и что даже у князя Броницына не будет такой лошади.

Мы слушали его разиня рты и любовались им, потому что румяный, плечистый и толстый Коля был действительно как будто создан для того, чтобы быть кирасиром.

Прошел еще год. Летищев не показывался. Он, вероятно, забыл о нас. Мы забыли о нем. Наступил день нашего выпуска, торжественный день в жизни каждого из нас. Мы проснулись рано, потому что волнение не давало нам спать. Солнце ярко сияло; из открытых окон нашего класса, куда мы собрались в последний раз, несло благоухание от инспекторских левкоев и резеды вместе с свежим утренним воздухом; голуби – охота одного из наших гувернеров, расхаживавшие по двору, ворковали звучнее обыкновенного; четыре липки, торчавшие перед окнами в сади-

ке, на которые мы никогда не обращали внимания, ярко и весело зеленели, облитые солнцем; все начальники смотрели на нас с особенно приветливым выражением в лице; товарищи, остававшиеся в пансионе, окружали нас с завистливым любопытством и повторяли нам: «Счастливые!» Сторож, которого мы обыкновенно посылали украдкой за завтраком в мелочную лавку, при встрече поклонился нам с таким уважением, как он кланялся только инспектору или директору, и потом все поглядывал на нас с заискивающей улыбкою, как бы ожидая чего-то. За утренним чаем мы не прикасались ни к чему, отдали свой чай и булки товарищам и разговаривали шумно, свободно и весело, не боясь замечаний и выговоров. Мысль, что через несколько часов мы будем вне этих стен, на просторе, на воле, без всякого надзора, что мы пойдем куда угодно, будем делать все, что нам вздумается, что впереди перед нами театры, гулянья, всевозможные увеселения, погружала нас в упоительное одурение... Все перед нами казалось широко, светло и бесконечно. Сердца наши бились сильно, глаза сверкали счастьем,

грудь, переполненная ощущениями, волновалась. Двери парадного подъезда отворены были настежь, у подъезда стояли наши экипажи, на лестнице толпились ожидавшие нас люди.

– Господа! – закричал один из нас, – мы теперь свободные люди! Ура!.. Делай, что хочешь!

Он схватил первую попавшуюся ему под руку учебную книжку, разорвал ее пополам и бросил, потом схватил со стола чугунную чернильницу и с каким-то ожесточением швырнул ее в клумбу с инспекторскими цветами.

– Ура! – раздалось вслед за ним, и чернильницы одна за другой полетели за окна, на цветы.

– Теперь долой эти платья! – кричал другой, – прочь эту дерюгу!.. Смотрите, господа!..

И он разрывал пополам свой сюртук при всеобщих рукоплесканиях и криках.

После первой минуты этих буйств и разрушения, этого опьянения радости, осмотрясь кругом, мы увидели Скулякова. Он сидел у стола, облокотясь на руку. Лицо его, и без того всегда бледное, имело в эту минуту какой-то

зеленоватый, болезненный оттенок, а его косые глаза неопределенно и грустно смотрели куда-то. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, что делалось кругом него.

– Что ж ты сидишь? – сказал ему кто-то из нас, – вставай, братец: пора одеваться.

– Зачем? – проговорил он мрачно и вполголоса.

– Как зачем? – закричало несколько голосов, – отправляться по домам.

– У меня нет дома, – отвечал он, махнув рукой, – с богом отправляйтесь себе; мне некуда.

Шумная ватага разбежалась. Я остался с ним один; мне стало жаль его. Я знал, что Скуляков беден, что у него не было никого, кроме старухи-матери, которая жила далеко от Петербурга в своей деревеньке; что в Петербурге у него был только один знакомый, к которому он ходил по праздникам, и то изредка.

– Отчего же ты не пойдешь к своему знакомому? – спросил я. – Разве ты не можешь прожить у него до тех пор, покуда пришлют за тобой из деревни?

– Он уехал из Петербурга, – отвечал Скуляков, видимо недовольный моими вопросами.

– Послушай, Скуляков, – сказал я, – я прошу тебя, сделай одолжение, поедem ко мне. Все наши будут тебе рады... Все-таки до отъезда в деревню тебе лучше и веселее будет прожить у нас, чем оставаться здесь одному в пансионе.

И я с горячностью протянул ему руку. Скуляков пожал ее и взглянул на меня.

– Нет, спасибо, – отвечал он, – я не хочу быть никому в тягость... я не могу, брат...

Я не совсем тогда хорошо понимал значение слов: «быть в тягость», и деликатность натуры этого человека, которого звали костоломом, казалась мне только упрямством. Я стал еще сильнее уговаривать его.

– Нет, уж ты лучше и не говори, – перебил он меня, – я не поеду; я уж сказал, я останусь... Спасибо тебе. Прощай! Будь счастлив...

В его голосе, обыкновенно грубом, было в эту минуту столько мягкости и задушевности, что я не мог удержаться от слез. Мне вдруг в первый раз стало совестно, что я во все время вместе с другими товарищами, и может быть



более других, приставал к нему и смеялся над ним.

– Прости меня за прошлое, – сказал я, – я виноват перед тобою.

Скуляков вдруг соскочил со скамейки, остановился на минуту в недоумении, как бы желая сказать мне что-то, – и вдруг бросился ко мне на шею, обнял меня еще раз и еще крепче пожал мне руку и прошептал:

– Ну, прощай, прощай, братец!

Выходя из класса, я обернулся назад. Скуляков закрыл лицо руками и прислонился к краю стола. Мне показалось, что он плакал...

Но через десять минут, на дороге из пансиона домой, я забыл о Скулякове и о всем на свете. Широкое и радостное чувство свободы эгоистически овладело мною; мне казалось, что горе, несчастье и прочее – все это людские выдумки и что жизнь – вечный праздник.

Я не предчувствовал, что готовилось для меня впереди, и едва удерживал мое нетерпение, завидев нашу дачу, наш старый дом, окруженный столетними деревьями... я был уверен, что скорее лошадей добегу до крыль-

ца, и мне хотелось выскочить из коляски, чтобы броситься на шею к дедушке... Когда коляска остановилась, я едва мог дышать от волнения. У крыльца стояли маменька, приживалки, лакеи и горничные в ожидании меня – все, кроме моей няни, которой уже не было на свете, и дедушки.

– Где же дедушка? – было первое мое слово.

– Дедушка нездоров. Тише: он поживает, – отвечали мне.

Эти слова болезненно отозвались у меня в сердце, и я вошел в дом на цыпочках, понуря голову. Через час меня позвали к дедушке. Он улыбнулся мне, пожал мне руку своей ослабевшей рукой и произнес с усилием:

– Ну, поздравляю тебя, поздравляю...

Он велел мне сесть к себе на постель и стал смотреть на меня, держа меня за руку, с такою любовью и с такою грустью, что я зарыдал...

– Полно, голубчик! Бог даст, я еще поправлюсь. Не плачь, дружочек! – шептал мне дедушка, сам глотая слезы.

Но сердце мое говорило мне, что все кончено. Я вышел от дедушки и упал на диван,

захлебываясь слезами.

К вечеру дедушке сделалось хуже, вероятно, от волнения; а через два дня после этого он лежал на столе. Он как будто заснул на минуту: так лицо его было спокойно и светло, ни одна черта его не была искажена страданием, и на губах его замерла улыбка – та симпатическая улыбка, с которой он всегда встречал меня... Неужели это смерть?..

Я стоял, пораженный этим явлением, не спуская глаз с усопшего. Мне казалось невозможным, что я уже никогда не увижу его кроткого взгляда, никогда не услышу его голоса, звучавшего любовью... Смерть! когда все кругом меня кипело жизнью, светом, радостью...

Окна комнаты, в которой дедушка был положен, выходили в сад... Солнце бросало на все ослепительный блеск, совсем поглощая свет погребальных свеч. Ветка шиповника в полном цвету врывалась в одно из окон, и однообразный, тихий голос чтеца заглушался звонким пением, свистом и чиликанием птиц.

## II. Молодость

Прошел год. Я уже привык к моей свободе. Она мне даже надоела немножко, потому что я не находил, какое употребление сделать из нее. Летищева, который уже был офицером, я видал довольно часто на Невском: то в коляске, то в дрожках на рысаках, то верхом, то на тротуаре под руку с другими офицерами. Он холодно кивал мне головою при встречах; я ему отвечал тем же. Мы нигде не сходились. Я услышал стороною, что мать его давно умерла, что все оставшееся после нее движимое и недвижимое имение отдано было за долг и что граф Каленский хотя был довольно внимателен к нему, но денег не давал. Несмотря на это, Летищев, служивший в самом дорогом полку, жил не хуже своих товарищей, которые получали большие деньги и имели в виду огромные состояния. Говорили, будто он поддерживает такое блестящее существование одними займами, распуская слухи, что он единственный наследник графа, и занимает 50 на 100, а иногда и капитал на капитал. До какой степени слухи эти были осно-

вательны, я не знал. Несомненно было только то, что Летищев проживает много, что он цветет, толстеет, сияет самодовольствием и отличается полною беспечностью.

В одно из представлений балета «Киа-Кинг» во время антракта, когда все поднялись, чья-то рука из первого ряда кресел упала на мое плечо – я сидел во втором – и знакомый звонкий, несколько пронзительный голос произнес скороговоркою:

– Здравствуй, mon cher! как я рад тебя видеть! сколько времени мы не видались!.. Где ты пропадаешь?

Это был Летищев. Я молча поклонился ему; он схватил меня за руку и крепко пожал ее.

– Да что ты, не узнаешь меня, что ли?

– Нет, узнаю, – отвечал я.

– А разве так встречаются старые товарищи? Я тебя всегда очень любил и очень, очень рад тебя видеть.

Такую внезапную горячность ко мне Летищева я не мог разгадать вдруг.

– Пойдем в буфет, – продолжал он, – мне хочется и покурить и поговорить с тобою... А

ты ничего не меняешься: точно как был в пансионе.

Мы пришли в буфет.

– Ну, несравненная madame Пиацци! – сказал он, обращаясь к черноглазой и черноволосой даме, стоявшей за буфетом, – велите-ка нам подать бутылку клико, да похолоднее, и мою трубку с янтарем (тогда еще папиросы не были в употреблении) в маленькую комнату... знаете? Это мой друг, – прибавил он, указывая на хозяйку буфета, – у меня, братец, везде друзья... Это необходимо, без этого нельзя... Скорее вина...

– Да к чему? – начал было я.

– Нет, нет! ты мне уж этого и не говори, – перебил Летищев громко, обращаясь то ко мне, то к мадам Пиацци, – мы должны выпить. Встреча с тобою мне так приятна. А знаешь и, сколько мы выпили вчера с Федей Рагузинским и Броницы-ным (ты ведь его помнишь)? Ну, как ты думаешь?

– Я не знаю.

– Девять бутылок!.. по три на брата. Не глупо?

М-ме Пиацци с приятностью улыбалась,

слушая Летищева, и покачивала головой.

Когда в отдельную комнату мальчик принес трубки и шампанское, Летищев крикнул ему: «Ну, косой, откупори, да без шума, и убирайся вон!» – и потом обратился ко мне, потрепав меня по плечу, и сказал:

– Сколько с того времени, mon cher, воды утекло, как мы расстались!.. Ты знаешь, что мать моя умерла... Я теперь один, вольный казак, проживаю тридцать тысяч; у меня лучшая лошадь в полку, десяти тысячный жеребец... Но это все вздор! Ты знаешь, что я сделался театралом с ног до головы, вся моя жизнь здесь, на Большом театре; я не пропускаю ни одного балета. Знаешь ли, сколько раз я видел «Бронзового Коня»? – 54 раза! а послезавтра 55-е представление... Общество театралов недавно поднесло мне похвальный лист, за подписью всех своих членов, и во главе всех подписей имя нашего doyen d'age между театралами – князя Арбатова... Какой чудный человек! Что за душа! Ты не знаешь его? тебе, mon cher, непременно надо сделаться театралом... и все наши... ведь это удивительные ребята!.. Если бы ты посмотрел наши сходки: чу-

до!.. Мы преследуем, братец, и презираем всех этих светских франтиков, паркетных шаркунов... Из нас никто ни ногой в свет, хотя мы все имеем на это полное право... Свет, эти все дамы косятся на нас, да черт с ними!.. Что, например, выше наслаждения провожать театральные линии, видеть в окно прелестное личико с платком на голове, которое высунулось для того, чтобы взглянуть на тебя... понимаешь? Ты перекидываешься с нею несколькими словами, рискуя попасть под огромное колесище и быть расплющенным... Впрочем, у меня кучер так наловчился подъезжать близко к линии, что полоз моих саней совсем сходится вплоть с обручем колеса... и ничего, видишь, я до сих пор жив и здоров... Один раз я чуть не попал, однако, под колесо; но зато чем же я и был вознагражден за это!.. Из окна раздался голосок: «Вас задавят... ах, страсти!» И она упала, братец, в обморок: ее без чувств привезли домой. Она любит меня до безумия; а я... я уж и говорить нечего... я с ума схожу... такой девочки нет на свете другой... Что за глаза, что за бюст, какая ножка!.. Царица между всеми... И посмотри, какая у



нас идет перестрелка во время представления, заметь... Все говорят, что она первая, и точно... Какой талант!.. Не правда ли?..

– Да я не знаю, о ком ты говоришь, – возразил я.

– Как? Неужели? – Летищев посмотрел на меня с удивлением и недоверчивостью. – Будто ты ничего не слышал? Ты не знаешь, за кем я ухаживаю? Да об этом кричит весь город... И черт знает, как все это узнают, я не понимаю! Дамы в обществе об этом толкуют – ведь вот до чего дошло – ей-богу!.. Мне это ужасно неприятно: дядя на меня злится... ну, да пусть его злится... Если ты хоть раз был в балете, хоть один раз в жизни, ты должен знать Торкачеву...

– Понятия не имею, – отвечал я.

Хотя Торкачева была одна из самых хорошеньких молодых танцовщиц того времени, но мой глаз не был так опытен, чтобы отличать Торкачеву от Пряхиной, Белоусову от Каростицкой и т. д.

– Что? – с ужасом воскликнул Летищев. – Ты не знаешь Торкачевой? Ах ты, варвар!.. Послушай, ты лучше не признавайся в этом: это

нехорошо, просто стыдно. Не знать Торкачевой!.. mais, mon cher, c'est impardonnable, c'est un crime... Четвертая корифейка с края с правой стороны... среднего роста, с такими огненными бирюзовыми глазками...

– А! так это она?..

– Она! она! – вскрикнул Летищев, – да вот смотри!..

Он расстегнул мундир, потом рубашку, вытащил золотой медальон, висевший на тоненькой цепочке на его груди, открыл его и показал мне ее портрет. – Не правда ли, прелесть? Не правда ли, от такой девочки простительно с ума сойти?.. Ведь это, братец, счастье быть ею любимым?

И он с жаром поцеловал портрет, спрятал его, застегнулся, взял стакан и прибавил:

– Ну, теперь выпьем же за ее здоровье, за здоровье моей чудной Кати! только смотри, до капли...

Мы выпили.

– Я ее так устрою, – продолжал Летищев, – чтобы все ахнули: я ее окружу всевозможной роскошью, ничего не пожалею для нее, ухну все, что имею... черт возьми! А там... ведь дя-

дя же мой не будет жить вечно... тогда мне уж горевать будет не о чем: двести тысяч дохода, un revenu net... ведь изрядно?..

Летищев должен был знать, что у графа Ка-ленского есть ближайшие родственники; что имение графа по прямой линии перейдет к ним; что ему достанется что-нибудь, и то неверно; но он до того нахвастался всем, что он его единственный наследник, что наконец почти сам стал верить этому.

Когда Летищев высказал мне все, что ему хотелось высказать, он вдруг несколько охладил ко мне.

– Однако пора; заболтался. Беда, если я пропущу ее выход: мне за это достанется... Пойдем... М-ме Пиацци! запишите за мной бутылку... Заметь же... ты сидишь, кажется, сзади меня... какая пойдет перестрелка!.. Смотри, ты поусердней и погромче хлопай нашим-то, по старому товариществу.

Лишь только Торкачева с компанией появились на сцене, Летищев обратился ко мне и показал мне ее.

– Ну, что, какова? не правда ли, чудо? Браво! браво! – закричал он, отвернувшись от ме-

ня и захлопав.

Затем весь первый ряд правой стороны начал кричать вполголоса: «Браво! браво!», усиливая это браво постепенно и доведя его наконец до неистовых криков с громовым аккомпанементом рукоплесканий; после криков и хлопаний все эти господа впились в свои бинокли, и я заметил, что между Торкачевой и Летищевым точно существовали какие-то телеграфические знаки и что после каждого пируэта она обращалась с особенно значительной улыбкой к тому креслу, на котором сидел он.

Когда Торкачева с компанией скрылись за кулисами, Летищев опять обратился ко мне.

– Перестрелку-то заметил? Вот теперь появится Иванова – так уж ей надо хорошенько шикнуть: это наш смертельный враг...

– Отчего? – спросил я, – она славная танцовщица.

– Какое! дрянь!.. да все равно, хотя бы она была первый гений: уж ей, по – нашему, следует шикать...

И точно, при появлении Ивановой в первых рядах раздалось шиканье. Это шиканье

произвело в публике неудовольствие, обнаружившееся громом рукоплесканий. Как люди в своем деле опытные, театралы смирились перед бурей; когда же буря начала стихать, они воспользовались первой секундой затишья, чтобы шикнуть снова. Но снова их шиканья были заглушены еще сильнее громом и сопровождались вызовом ненавистной им танцовщицы.

Несмотря на это, они выходили из театра очень довольные, с полной уверенностью, что уничтожили ее; а князь Арбатов, пропускающая их мимо себя, повторял каждому: «Славно, ребята!» – и каждый отвечал на лестное одобрение: «Рады стараться, ваше сиятельство!»

У театралов, как я узнал впоследствии, были очень усердные помощники, исправлявшие должность театралов из различных побуждений и рассаженные в разных концах и углах зала. Они состояли, первое, из господ, надсаживавших горло и отбивавших руки из того только, чтобы иметь честь попасть в кружок театралов, потереться около аристократов; второе – из нахлебников этой молодежи,

их прихлебателей, и третье – просто из наемных хлопальщиков и шикальщиков, которые, когда театрал, их патрон, проходил мимо их, обыкновенно выставляли вперед свои подобострастные фигуры и шептали с почтительной улыбкою: «Ну, уж мы сегодня похлопали, ваше сиятельство! во втором-то акте какой залп задали!»

Все театралы и исправлявшие должность театралов того времени, которое я описываю, были под командой князя Арбатова.

Князь Арбатов пользовался значительною известностью в Петербурге, и те немногие, которые не были с ним знакомы, наверно знали о нем хоть понаслышке. Я принадлежал к последним. Еще когда я был школьником, мне указали на него однажды в балете. Князю казалось на вид лет сорок с лишком. Он был мужчина довольно видный, полный, высокого роста, с круглым лицом, нижняя часть которого выдавалась вперед, с большими карими глазами, с маленьким лбом, с редкими подкрашенными волосами и с короткими щетинистыми усами, также подкрашенными. Туалет его не отличался изысканностью: сюр-

тук был почти всегда застегнут на все пуговицы, галстух высокий, на пряжке сзади, с торчащими из-под него маленькими воротничками от рубашки. По всему было заметно, что с статским платьем ему свыкнуться было нелегко, что оно было для него ново и что он презирал его. Плечи князя, гордо вздернутые кверху, привыкшие к большим и густым эполетам, беспрестанно приподнимались и вздрагивали. Князь был в театрах, как у себя дома: все театральные власти были его друзьями и приятелями; все сильфиды, амурь и грации считали его за родного; бутафоры и ламповщики глядели на него с чувством; капельдинеры встречали его при входе с особенною торжественностью и почтительно отворяли перед ним двери храма искусства, в который он вступал повелителем, раздавателем сценической славы, непогрешительным судьей – протектором или карателем, перед глазами которого прошли десять поколений самой богатой и блестящей молодежи, по одному его мановению рукоплескавшей и шикавшей, – десять поколений, им взлелеянных и воспитанных.

Его давно уже нет на свете, этого почтенного мужа: но до тех пор, покуда будут существовать театралы, имя его, вероятно, будет благоговейно произноситься ими, начертанное неизгладимыми буквами в их летописях, и предпоследнее поколение, имевшее счастье еще застать его, может произнести о нем, как Пушкин о Державине:

Старик Арбатов нас заметил И, в гроб сходя, благословил! Старик! Но Арбатов никогда не был стариком: в шестьдесят с лишком лет он сошел в могилу таким, каким был в девятнадцать. Он был верен себе до последней минуты и вечно юн, несмотря на свои морщины, редкие подкрашенные волосы и вставные зубы. Время действовало несколько тлетворно на его внешность, не изменяя ни в чем его внутренних убеждений, взглядов и понятий и нимало не охлаждая его пламенной любви к театру вообще и балетному искусству в особенности. За два дня перед смертью, в представлении «Катарины – дочери разбойника», нежное и любящее сердце его так же горячо и сильно билось при виде порхающих красавиц-внучек, как оно билось при появлении



порхавших некогда красавиц – их бабушек в «Коро и Алонзо», «Деве Солнца» или в «Пажах герцога Вандомского». Бабушкам и внучкам он рукоплескал с равным энтузиазмом и так же верно знал именины и рождения бабушек, как именины и рождения внучек, с одинаково теплым чувством поздравляя тех и других.

Летищев, который после представления «Киа-Кинга» стал заезжать ко мне изредка, рассказывал мне об Арбатове с увлечением и посвятил меня во все подробности театральства.

– Такой любви к искусству, – говорил он, – такого благородного жара ты не встретишь ни в ком. Поверишь ли, что в каждом из нас князь принимает такое горячее участие, как в самых близких родных. Да что ему родные! Весь мир его заключается в нас и в девицах. Он их и нас любит, как отец. Когда князь Броницын завел стрельбу с Пряхиной, он сейчас же сообщил об этом Арбатову... Мы ничего от него не скрываем: все малейшие движения наши известны ему: «Я не знаю, чего бы я не дал, – сказал ему Броницын, – если бы я где-нибудь мог с нею видаться!» Тогда Броницын

только что вышел из школы... Это было в первые месяцы нашего театральства... Мы тогда еще не знали, как приступить, ходили как впотьмах. Арбатов только что принял нас под свое покровительство, и мы еще не были совершенно посвящены во все тайны театральства; еще старые театралы смотрели на нас, как на мальчишек... Мы трепетали перед Арбатовым, как перед авторитетом. Что же ты думаешь? этого я никогда не забуду, это было при мне: Арбатов крепко пожал ему руку и пристально взглянул на него испытующим взглядом. «Вы ее очень любите, князь?» – спросил он его. «До безумия», – отвечал Броницын. Арбатов задумался на минуту. «Знаете ли, – возразил он – и надобно было видеть в эту минуту серьезное, даже несколько строгое выражение лица его, – знаете ли, что это девочка необыкновенная... кроткая, скромная, милая... Выбор ваш делает вам честь; но послушайте, князь, вы должны оценить ее вполне и сделать счастливой...» – «Я вам отвечаю за это», – перебил с горячностью Броницын. «И я вам от души верю, князь! Уже одно ваше имя служит мне ручательством за то,

что вы дорожите вашим словом. К сожалению, – и Арбатов вздохнул, – я обманулся во многих в течение моего театрального поприща; многие, говорит, из театралов бросили тень на это имя, которым мы должны все дорожить, которое должны носить с гордостью». Мы были все почти до слез тронуты этими словами и поклялись в чистоте сохранять почетное имя театрала. Арбатов расцеловал нас и сказал: «На днях мы окончательно посвятим вас, и тогда (он обратился к Броницыну) я займусь вашим делом... *soyez tranquille*... мы все устроим: я переговорю сначала с нею, а потом с ее матерью серьезно».

Если кому-нибудь из нас девица не отвечала, Арбатов был просто в отчаянии; он начинал ее усовещевать, уговаривать, выставлять перед нею достоинства ее обожателя. «Поймите вы свою пользу, – говорил он ей, – я для вас же хлопочу, вас же хочу устроить. Поверьте мне, вы созданы друг для друга», – и достигал своей цели. Девицы всегда хороши с теми, с кем он хорош. Надобно видеть, братец, когда он между ними; все при его появлении одушевляются, и большие и маленькие, и кори-

фейки, и танцовщицы, и те даже, которые пляшут у воды, – все, подпрыгивая и хлопая ручонками, глядя на него, кричат: «Дядя, дядя!..» Он всех порядочных людей вербует в театралы. Чуть у кого-нибудь заметит маленькое влечение к балету – и подсядет сейчас к нему. Вот он еще недавно завербовал нам графа Красносельского, который месяц назад бредил светом, был самым упорным паркетным шаркуном. Арбатов подсел к нему раз в балете и говорит: «Смотрите-ка, как Белокопытова-то стреляет в вас. Она только вами и бредит. Она недавно сказала мне: «Я бы, кажется, с ума сошла, если бы граф отвечал мне». Бедная девочка! мне жаль ее. А какое у нее сердце, если бы вы знали! и ведь красавица! Сколько за ней ухаживали, а она никому еще не отвечала до сих пор. Вы первые тронули ее... Vous ferez une bonne action, если обратите внимание на эту девочку, и скажете мне за нее потом спасибо». Эти слова подействовали на самолюбие графа Красносельского: мало-помалу он начал увлекаться, завел с нею телеграфические знаки; ну, а потом и пошло, и пошло, и в один месяц он сделался

самым отчаянным театралом, совсем перестал ездить в свет, выдержал страшные истории за это дома, перессорился со всеми родными, и теперь для него ничего в мире не существует, кроме балета, а в балете – Дашеньки Белокопытовой!.. Вот каков Арбатов! Я тебе говорю, это необыкновенный, чудный человек, первый сорт! И как ненавидят его все маменьки и дяденьки! Да ему что? он гордится этою ненавистью.

Летищев открывал для меня новый мир, и я слушал его с любопытством.

– Да что, – продолжал Летищев все с большим одушевлением, – Красносельский молод; нас, у которых кровь кипит, завлечь, топcher, немудрено; а он завербовал недавно в театралы семидесятилетнего старца, у которого дети уже бреют бороды лет десять или двенадцать!.. Вот какие чудеса творит Арбатов!.. У Прохоровой был вечер. Весь балет там был и все наши. Арбатов все обдумал заранее. Ему давно хотелось устроить Капылову. Она уж не первой молодости и собой-то не очень; но тело у нее чудесное и сложено отлично. Она так пропадала в одиночестве и бедности,

а девица славная и добрая; все наши ее ужасно любят: и Катя, и Пряхина, и Натарская, и Каростицкая, – все, все... Арбатов давно ей говорил: «Дайте мне срок, несравненная моя Наталья Ивановна, – и, знаешь, рукой ее этак по талии, – уж я пристрою вас, матушка, будьте покойны»; да и намекнул ей на старичка, а старичок богат и скуп, как черт... «Это, говорит, ничего, мы сумеем порастрясти его карманы». Он и привез его на вечер к Прохоровой. Капылова разоделась в пух и прах и давай стрелять в старичка; а Арбатов толкает его и говорит: «Смотрите, смотрите, Петр Иванович, глаз с вас не спускает: победа, да еще какая! Поздравляю вас, искренно поздравляю! Первая по сложению в балете». Старичок поднес, дрожа, лорнет к глазам и начал смотреть на нее. Глядь, через час уж он танцует с нею мазурку, со всеми старинными затеями: с припрыжкой, с усами; вертит ее, становится перед ней на колени... просто умора. Мы надрывались со смеху. С тех пор, братец, не пропускает ни одного балета, сошелся со всеми нами на ты, туда же телеграфические знаки делает, несмотря на то, что руки дрожат и все

в морщинах, точно сплюснуты; в венгерке ездит верхом мимо ее окон, пудами посылает ей конфеты и, в довершение всего, сочиняет к ней стихи. Я помню первые три стихика:

На Арарат Наташу я поставлю И весь мир думать заставлю: Вот та, которую люблю!

Дальше не помню, а недурно! Он мерзнет с нами у театрального подъезда, пьет с нами. Надобно было видеть, когда его посвящали в театралы, когда его в первый раз привезли на нашу главную квартиру. Арбатов ввел его с особенною торжественностью, в сопровождении всех нас, в ту комнату, где хранятся все наши атрибуты. У нас, братец, все это устроено чудо как! В эту комнату никто не входит, кроме посвященных или посвящаемых. Там, на возвышении, лежит шлем из «Восстания в Серале» и башмак Тальони, который был на ее ноге в первое представление, когда она танцевала на петербургской сцене. На столе перед возвышением ряд башмаков всех известных наших танцовщиц, книга с нашими постановлениями, в великолепном переплете, и другая книга, в которой внесены именины и рождения всех танцовщиц, имена всех

бывших и настоящих театралов и все важные события, случившиеся в различные периоды театральства; по сторонам две доски на треножнике: одна – красная, на которой записаны имена всех наших, тех, которые отвечают нам; другая – черная, и на ней имена наших врагов, тех, которым мы шикаем. Старика подвели к возвышению, надели ему на голову шлем, заставили поцеловать башмак Тальони. Он поклялся быть неизменно верным всем правилам театральства, никогда не нарушать их, во всем помогать товарищам и проч., и, когда он говорил это, голос его дрожал и на глазах его показались слезы. Броницын, глядя на него, язвительно улыбался, подтрунивал над ним и называл его шутом. У Броницына, между нами, нет сердца. Я с ним чуть не поругался за это. На меня эта сцена подействовала совсем иначе: меня это тронуло. Поверишь ли, я полюбил после этого старика. Теперь его и узнать нельзя: он так изменился – о скупости и помину нет, он ведет себя молодцом, так держит себя, что чудо, и на счет подарков никому, братец, из нас не уступает. Сначала, покуда он ограничивался



стишками и конфетами, все театральные подшучивали над Капыловой. «Славного, Наталья Ивановна, – говорили они ей, – подтибрили вы себе обожателя!» И ей было как-то неловко и совестно; ну, а теперь, я тебе скажу, как увидали на ней тысячный салоп, да браслеты с изумрудами и яхонтами, да ее карету, которая подкатила к подъезду после репетиции, так все прикусили язычки. И она стала смотреть не так, да и на нее стали смотреть иначе. Старик души в ней не чает. «Я, говорит, теперь только начинаю жить; я, говорит, теперь только понял, что такое любовь». Разумеется, он отчасти смешон, коли ты хочешь; но как бы то ни было, а это доказывает, что в нем есть жизнь, что в нем не совсем очерствело сердце, что он способен еще понимать изящное, и все это, однако, заметь, проблудило в нем театральство! Арбатов от него в восторге; он не нарадуется, глядя на счастье Натальи Ивановны, и нынешней зимой устроит у нее танцевальные вечера, куда будут съезжаться все балетные и, разумеется, наши, после выпуска. Мы сходимся на нашей главной квартире непременно уж раз в неделю после

балета, и старичок всегда с нами: мы к нему привыкли, без него как будто чего-то не хватает. На этих сходках у нас – это уж так положено – все должны только говорить о театре и о том, что касается до театра; если же кто заговорит о чем-нибудь постороннем, с того берется штраф, – и, вообрази, наш старик еще ни разу не заплатил штрафа! Он сделался одним из самых строгих блюстителей наших порядков. По-моему, так его просто нельзя не уважать!

Затем Летищев перешел к своей Кате, передавал мне слова, которые она бросала ему на лету, восторгался от ее ума, красоты, повторял, как он ее любит, и фантазировал о будущем.

Он привозил ко мне различные покупки, развертывал передо мною куски бархатов и шелковых материй, вынимал из карманов сафьянные коробки с часами, брошками и браслетами, приставая ко мне с вопросами: «Не правда ли, это хорошо?.. Не правда ли, это с большим вкусом?.. Как ты думаешь, что это стоит?..» – и прибавлял к этому, что его подарки лучше подарков Броницына и что уж у

него такой характер, что он никому и ни в чем не позволит себя перещеголять.

Он объявил мне, между прочим, что Катя переезжает к своей старшей сестре; что он для того, чтобы жить с Катей в одной улице, переменяет свою квартиру; что отыскать квартиру в ее улице стоило ему величайших усилий; что он уговорил хозяина дома выжить какого-то жильца, заплатил за три скверные комнаты, которые занимал этот жилец, тысячу пятьсот рублей вперед; что он отделяет их совершенно заново; что все это обойдется ему в двадцать тысяч; что он хочет, чтобы ни у кого из театральных не было таких платьев, шляпок, браслетов и прочего, как у его Кати. При этом он прыгал, хохотал, пел, обнимал меня, целовал и жал мне руки. После этих неистовств он стихал на минуту, прохаживался по комнате и спрашивал меня:

– Ты мне друг? скажи – друг? Ты, братец, понимаешь меня? не правда ли?

Я, по обыкновению, молча кивал головой.

– От тебя я уж не могу скрывать ничего; только, бога ради, это между нами: ты един-

ственный человек, которому я это показываю.

И он, притворяя дверь, вынимал из кармана письма к нему Кати и читал их. (Впоследствии я узнал, что вся петербургская молодежь почти наизусть знала эти письма.)

– Я даже еще Арбатову не показывал этого письма, – замечал он каждый раз, – даже Арбатову! понимаешь?..

В этих письмах Торкачева очень наивно и довольно безграмотно выражала ему свою любовь; но письма, по крайней мере мне казалось тогда, были проникнуты теплотою, обнаруживавшею сквозь безграмотные и смешные фразы неподдельное чувство.

Окончив чтение, он подносил обыкновенно эти письма к моим глазам, потом складывал их, целовал и прятал в карман.

– Это драгоценности, – говорил он, – с которыми я никогда не расстанусь. Их положат в гроб со мною. Видишь ли, как она меня любит! Не правда ли, каждое слово дышит любовью?

– Да, – возражал я, – такая любовь приятна, но разорительна.

Летищев хмурился.

– Как тебе не стыдно! – кричал он, – денежные расчеты – какая гадость! Фи!.. Я не стоил бы ее, если бы рассчитывал, как лавочник, поэкономней да подешевле. Я не мог бы перенести, если бы она была устроена беднее Пряхиной: мне стыдно было бы тогда взглянуть в глаза Броницыну... Что делать! *Noblesse oblige, mon cher*... Конечно, я не в состоянии бросать столько денег, сколько Броницын, тягаться за ним; но не могу же я и уступить ему. Мои дела немножко запутаются – я не скрываю этого. Мне будет немножко тяжело... Ну, а дядя-то?.. Мне верят наконец. Я имею кредит. Да здравствует кредит! С кредитом можно жить отлично.

Положение обязывает, мой дорогой...

После таких рассуждений Летищев насвистывал обыкновенно арии из «Бронзового Коя», напевал вальсы и под свои звуки один кружился по комнате.

Он был в восторге от своей новой квартиры: окна его кабинета выходили прямо против окон комнаты его Кати. Показывая мне на эти окна, он говорил:

– Ты понимаешь, я могу теперь видеть отсюда все, что она будет делать; она может видеть все, что делается у меня. Я вооружился телескопами, зрительными трубами...

Дней через десять после этого он заехал ко мне и говорит мне:

– Ну, братец, я плаваю в море блаженства! Я был у них. Сестра приняла меня отлично, а Катя – с каким восторгом она меня встретила, если бы ты видел! Какая перестрелка у нас пошла через улицу, часов по пяти сряду каждый день. Я подарил сестре турецкую шаль... Ах, Катя, Катя!.. Ты непременно должен видеть ее... едем ко мне...

Он привез меня к себе.

– Она не должна подозревать, – сказал он, – что у меня кто-нибудь есть: иначе все пропадет, и мы ее не увидим. Становись у окна за этот занавес и смотри в щелку, вот в это пространство. Ты увидишь все, а тебя оттуда никто не увидит.

Я повиновался безмолвно, потому что мне любопытно было посмотреть на эти проделки.

Летищев отворил окно, у занавеса которо-

го я притаился, наставил свою зрительную трубу и припал к ней глазами. День был весенний, ясный и теплый. Окно Катиной комнаты было уставлено цветами. Минуту спустя через зелень этих цветов протянулась ручка. Ее окно также отворилось, и в этом окне, между фиолями и розами, показалась прелестная женская головка с темно-каштановыми густыми волосами, с тонкими и необыкновенно привлекательными чертами лица, с несколько приподнятым кверху носиком и с продолговатыми синими глазками. Я в первый раз видел ее так близко. Она показалась мне в эти минуты несравненно лучше, чем на сцене, несмотря на то, что лицо ее имело бледно-желтоватый колорит, что, впрочем, несколько не портило ее; румянец менее бышел к этому лицу. Когда Летищев перестал смотреть в свою трубу, она впиалась своими синими, несколько туманными глазками в лоснившееся, полное и румяное лицо моего приятеля, кивнула ему дружески головкой и вся просияла улыбкой любви, доверия и счастья. Затем между ними начались какие-то непонятные для меня переговоры руками. Ко-

гда все это кончилось и я отошел от занавеси, Летищев обратился ко мне:

– Что, брат, какова? – спросил он.

– Прелесть! я поздравляю тебя, – отвечал я, – ты счастливец!

В эту минуту я не шутя завидовал Летищеву, и мне было как-то досадно смотреть на него: мне показалось, что он не в состоянии любить ее, что он вовсе не любит ее и что им движет одна суетность, одно тщеславие. Я не утерпел и заметил ему это. Замечания мои, довольно резкие, не произвели на него впечатления; он улыбался очень приятно. Самолюбие его было удовлетворено тем, что я с таким жаром относился о Кате. От него, вероятно, не скрылось, что я немного завидовал ему.

– А не правда ли, счастливец? – говорил он, потирая руки и смеясь, – и какую чепуху ты несешь, что я не могу любить! С чего ты это взял? Ну, клянусь тебе, что я люблю ее больше всего на свете и готов всем пожертвовать для нее!..

Первый месяц прошел и для нее, и для Летищева в чаду, в упоительном одурении. Он показывал ей себя ежедневно со всех сторон



и во всевозможных видах: верхом, в ботфор-  
тах и в каске, в коляске, на рысаках, с разве-  
вавшимся султаном, в дрожках, в одиночку и  
парой с пристяжкой; в окне в фантастиче-  
ском домашнем костюме. Она только и дела-  
ла дома, что подбегала к окну любоваться им,  
а от окна переходила к его подаркам – любо-  
ваться ими. Она была засыпана букетами и  
конфетами, завалена бархатами, шелками,  
различными тканями и драгоценными укра-  
шениями. Ей было так весело! Она была впол-  
не уверена, глядя на все это и слушая самые  
страстные фразы, что она любима так, как ни  
одна женщина не была никогда любима; что  
этой любви, этим букетам, этим тканям, этим  
драгоценностям, всем этим сюрпризам не бу-  
дет конца... А ко всему этому сестрица, также  
театральная девица, изведенная опытом жиз-  
ни, беспрестанно нашептывала ей:

– Как он хорош! чудо! какой душка! как он  
богат и какой у него дядя – миллионер!.. Ка-  
кие у него рысаки!.. ах, какие рысаки! Как он  
тебя обожает!.. Счастливица, Катя! ты в сороч-  
ке родилась!.. Он на тебе непременно женит-  
ся!.. Онамедни целует мою руку и говорит:

«Ведь вы сестрица моя? я вас не иначе буду звать, как сестрицей, как хотите, говорит, сестрица...» Ты будешь, Катя, дворянкой, заживешь в чертогах, станешь выезжать в самые знатные дома, давать у себя балы! Ай да сестричка моя!..

И она ухаживала за Катей, льстила ей, целовала руки, называла красавицей и при этом выпрашивала у нее различные вещи.

– Вот это материя-то, сестрица, попроще, – говорила она, – ты бы ее, голубчик, мне подарила. У тебя и без того платьев будет столько, что некуда девать... Все комоды ломаются от подарков...

Катя, впрочем, готова была, говорят, все отдать сестре и раздарить подругам, и только мысль, что это его подарки, удерживала ее от этого.

Между тем проходили месяцы за месяцами. Летищев становился как-то задумчивее. О нем начинали носиться недобрые слухи; ко мне он почти перестал ездить. Я где-то встретился с Броницыным. Броницын, скрывавший страшную гордость под утонченной вежливостью с своими старыми товарищами, с

которыми он встречался редко, обратился ко мне первый.

– Что Летищев? – спросил я у него.

При этом имени на лице Броницына показалась холодная и язвительная гримаса, заменявшая у него улыбку.

– Летищев, – повторил он. – Он ищет ста тысяч, которые ему очень нужны. Он у вас еще не просил? Ему поверить можно: ведь он наследник такого богатого дяди! Если он не найдет ста тысяч, то ему придется жениться. Я советую ему жениться. Он будет отличный муж, право: у него нежное сердце!

– Как жениться? на ком? – спросил я.

– На предмете своей любви. Что ж? это будет брак по страсти. Я люблю такие браки, тем более, что в наше время они редки. Оно, конечно, неприятно породниться с каким-нибудь поваром или с какой-нибудь дворничихой, да зато, батюшка, – любовь.

Броницын снова улыбнулся и рассказал мне с особенным удовольствием и очень подробно все отношения Летищева к Торкачевой. По его словам, у нее оказалась какая-то тетка, которая объявила Летищеву наотрез,

что если он желает свободно видеться с ее племянницей, то обязан: или обеспечить ее участь, или жениться на ней, что в противном случае тетка будет на него жаловаться; что между теткой и племянницей происходят всякий день сцены; что старшая сестра Торкачевой перешла на сторону тетки, и прочее.

Рассказ Броницына скоро подтвердился словами самого Летищева. Однажды вечером он приехал ко мне (я перед этим не видал его месяца два) в страшном волнении.

– Я к тебе, братец, за советом, – сказал он, – в тебе я найду участие, в этом я уверен; после князя Арбатова я тебя считаю лучшим другом... От других нечего ждать; все такие эгоисты, что ужас; а Броницын – *entre nous soit dit* – совсем бездушное существо: он хочет, кажется, отделаться от Пряхиной, – уж я вижу, что к тому идет. Он говорит, что у нее большие красные руки, а для него, видишь, руки главное в женщине... Он уж тайком заводит перестрелку с Прохоровой, у которой ручки выточены точно из слоновой кости... Это просто гадко, нечестно!.. Арбатов по этому случаю в довольно холодных отношениях с

ним... И если бы ты знал, каким скаредом оказывается Броницын! рассчитывает каждую копейку при своем богатстве... Да будь у меня такое состояние, как у него, я еще, братец, не так бы показал себя. Обо мне осталась бы страничка в театральных летописях! Ах, кабы мне его деньги! Летищев передал мне о тетке Торкачевой почти то же, что Броницын, и остановился на минуту в отчаянии, схватил себя за голову, бросился на диван, ломая себе руки, и потом продолжал:

– Этот аспид, эта подлая кухарка переехала к ним. Она сторожит ее, не позволяет ей видаться со мною, всячески терзает, притесняет ее, пилит, мучит, не позволяет ей даже подходить к окну... Ну, откуда же мне вдруг взять сто тысяч, согласишься? Я предлагал вексель. Арбатов ходил к старушонке, уговаривал, усовещевал ее – ничего не берет; слышать, проклятая, не хочет, подавай ей или деньги, или ломбардные билеты... то есть у меня просто голова, братец, трещит, я не знаю, что делать! Я с удовольствием бы дал заемное письмо в 200 000, если бы кто –нибудь дал мне теперь его... Мне остается один выход, если я не до-

стану, – жениться, потому что не могу же я оставаться в таком глупом положении, по месяцам не видеть Катю и знать, что ее мучат, – это ужасно! Я вчера с Арбатовым имел серьезное объяснение. Он говорит, что делать нечего – надо выйти в отставку и жениться... Что ты мне скажешь на это?

Летищев не без труда произнес последние слова и с беспокойством взглянул на меня.

– Ты сам, – отвечал я, – можешь это решить лучше, нежели кто-нибудь. Если ты ее точно любишь, если не увлекаешься подражанием или чем-нибудь другим, то женись; а иначе лучше поступи откровенно, разом прерви все и уезжай на время из Петербурга.

– Какое подражание! – возразил Летищев, несколько оскорбленный этим словом. – Я просто без нее пропал. Но дело не в том: в себе я не сомневаюсь... а тут другое... Будь она одна на свете, без роду, без племени, без всяких этаких теток, сестер, тогда бы я не задумался ни на минуту: а то... породниться черт знает с кем! Конечно, если бы я женился, я не пустил бы этих сестер и теток на порог моего дома... Но все как-то неловко... Согласись,

ведь я ношу старинное дворянское имя, мой дядя – ты знаешь, какую роль играет, к тому же он лишит меня наследства – вот ведь что! Я знаю, например, что Арбатов или ты, если я женюсь, будете уважать мою жену так же, как если бы она была урожденная какая –нибудь княжна: вы люди порядочные, без пред-рассудков; я от этого ничего не потеряю в ваших глазах... Ну, а что скажут какие-нибудь Красносельские, Броницыны и им подобные? какими глазами они будут смотреть на меня?.. Послушай, если б ты был на моем месте, скажи только откровенно, если бы ты любил, ты женился бы?

– Я думаю...

– Ты думаешь?.. Гм!..

Он начал прохаживаться по комнате.

– Я думаю тоже... да оно как-то... человек преглупо устроен... Ах, я забыл показать тебе ее письмо... Я получил его вчера. Вот оно... читай...

Я прочел:

«Господи если бы ты знал что со мной делается, я просто сойду с ума, значит ты меня не любишь если ты так долго можешь со

мною не видаться, а это зависит от тебя реши мою участь, тетенька говорит что если ты дашь слово, что женишься на мне то можешь приехать к нам хоть сегодня, она всю измучила меня говорит что ты меня обманывал и никогда не любил что она мне желает добра – если ты через три дня не приедешь к нам значит ты меня не любишь и я несчастная, тогда все кончено и я возвращу тебе все твои подарки и уж никогда не увидимся с тобою – что будет со мной я не знаю. Бог тебе судья, а я без тебя жить не могу, нет нельзя нам так расстаться я дольше терпеть не могу все сердце изныло. Один бы какой-нибудь конец – мне не нужно твоих подарков и денег я люблю тебя не из-за этого и бог свидетель что я брошу все не посмотрю ни на кого, и прибегу к тебе если ты меня не обманывал и точно любишь – делай со мной что хочешь у меня есть свой характер, и я никого не послушаю только люби меня, мне ничего ненужно – не томи меня больше.

Твоя до гроба Катя Торкачева».

– Ну что? – спросил Летищев, когда я отдал ему письмо.



– Она тебя любит, это видно.

– А я не люблю ее, что ли? Вот я докажу же тебе. Ты увидишь... слушай... едем сейчас ужинать к Фёльтету, заедем за Арбатовым, возьмем его с собою. И там порешим все. Так и быть: пропадай все – и дяди и тетки, кузины и весь свет, со всеми его глупостями и пред-рассудками! Катя будет моею, назло всем им.

И Летищев снова просиял при этой мысли, начал танцевать, напевать и прыгать.

– Ну, едем. Одевайся.

Когда мы сходили с лестницы, он взглянул на меня улыбаясь.

– Так ты во мне сомневаешься? – и запел из «Роберта»: «Обидное сомненье!»

Мы ужинали втроем. После трех бутылок Летищев, с разгоревшимися щеками и сверкающими глазами, встал со своего стула и, обратясь к Арбатову, произнес торжественно, с заметным, впрочем, волнением в голосе:

– Князь! сегодня решительный день в моей жизни! Я долго думал... выносить моего положения в отношении Кати я не могу больше. Я женюсь на ней, потому что без нее существовать не могу. Я подаю в отставку, устрою мои

дела, а через три месяца обвенчаюсь. Завтра же еду к ней и объявляю об этом ее сестре и тетке. Вы знаете, что без вашего совета я ничего не делаю. Я вас считаю своим отцом и другом. Благословите меня, князь!..

Арбатов был тронут до глубины этими словами. Он прослезился и бросился обнимать Летищева. После этих объятий Летищев закричал:

– Вина! вина!

Мы просидели у Фёльета до рассвета.

На другой день он отправился к Торкачевой. Выслушав предложение Летищева, тетка, сестра и Катя залились слезами от восторга, а тетка в приливе чувств, говорят, даже поцеловала его руку. Вечером об этом событии знали все театральные до последнего ламповщика. Катя была вне себя, убедясь, до какой степени Летищев ее любит. И с этого дня они были почти неразлучны.

Слухи о том, что Летищев женится на танцовщице, быстро распространились по всему городу и дошли до графа Каленского. За неимением более существенных интересов город нашел себе довольно серьезную пищу

даже в этой новости. Граф Каленский был взбешен до последней степени. Мысль, что его родственник (хотя и дальний) наносит такой позор своему имени, что он сделался городской сказкою, нанесла страшный удар его самолюбию. Он написал к Торкачевой письмо, исполненное угрозами и самыми оскорбительными для нее выражениями и эпитетами; объявлял, что, покуда жив, не допустит такого позора и не остановится ни перед какими мерами, чтобы образумить безумного молодого человека; прибавлял ко всему этому, что Летищев ничего не имеет, что он ничий, что до него дошли вести, будто он распускает ложные слухи, что он его наследник, для поддержания своего кредита, тогда как всем известно, что его прямые наследники такие-то и что даже если бы он и имел намерение оставить ему что-нибудь после своей смерти, то гнусное поведение и поступки Летищева уничтожили бы это намерение, и проч., и проч.

Письмо это было доставлено домашним секретарем графа в собственные руки Торкачевой.

Катя прочитала его, вскрикнула и покати-лась на пол. Летищев явился к ней через пол-часа после этого, бледный, расстроенный. Он знал обо всем, потому что сам получил пись-мо от дяденьки, в котором, между прочим, было упомянуто, что вместе с сим послано им письмо и к его сообщнице.

Когда он вошел к ней в комнату, Катя сиде-ла бледная, как полотно, со взглядом, бес-смысленно устремленным на одну точку, и с письмом, судорожно сжатым в руке. Услышав его шаги, она вздрогнула, взглянула на него и молча протянула руку с письмом.

Летищев взял у нее письмо, разорвал его с негодованием на мелкие кусочки, бросился перед нею на колени, начал целовать ее руки, успокаивать ее, клясться ей в любви, плакать, уверять, что дядя ничего не может сделать, что ему наследства дяди не нужно, что ему надо только устроить немного свои дела, что после уплаты кое-каких долгов у него оста-нется еще довольно и что они могут жить вместе спокойно и обеспеченно.

Катя выслушала его и сказала:

– Я верю тебе, Коля! Я только боюсь твоего

дяди; а мне все равно, хотя бы у тебя ничего не было. Теперь все кончено: я твоя... Ты не бросишь же меня, голубчик Коля! только кончай поскорей. Мне что-то страшно.

Летищев снова принялся ласкаться к ней и успокаивать ее, сестру, тетку, клясться Кате в любви, бить себя в грудь, кричать: «Тебя никто не отнимет у меня, никто!..»

И Катя повеселела. Она улыбалась ему, обнимала его и целовала.

– Мы поедем в деревню к тебе. Там уж нечего будет бояться твоего дяди: он будет далеко... У тебя есть, Коля, оранжереи с цветами?..

– Превосходные! – перебил Летищев, – таких камелий нет и в Петербурге.

– Ну и прекрасно! Я летом приглашу к себе Пряхину и Каростицкую... ведь можно? ты позволишь?..

– Еще бы!..

Летищев продолжал ездить к Кате всякий день. Собственные рысаки его и экипажи, впрочем, исчезли; вместо них появились ямские лошади и коляска довольно плохая. Он с каждым днем становился все мрачнее и

мрачнее. Она спрашивала его:

– Коля, да что с тобой? скажи.

– Какой вздор! ничего. Это тебе так кажется, – отвечал он.

А дело-то было, в самом деле, плохо. Все заемные письма, данные Летищевым, были поданы ко взысканию ростовщиками в тот самый день, как он получил отставку. Когда Катя первый раз увидела его в статском платье, это ее несколько опечалило. «Фи! как это не хорошо – без эполет и султана!» – сказала она. Но она примирилась с этою переменою при мысли, что дела их идут к развязке.

Прошло после этого два дня, и Летищев не показывался. Это ее встревожило, и на третий день она послала к нему письмо. Горничная, относившая письмо, возвратилась с письмом назад и, как полоумная, вбежала к Кате.

– Ах! барышня, барышня! – закричала она, – ведь они уехали совсем отсюда!

– Как! кто уехал? куда? Что ты врешь!..

В доме поднялась суматоха. Тетка и сестра подняли крики, сами побежали к нему на квартиру. Квартира была заперта. Они бросились с ругательством к Кате. Катя твердила

одно: «Не может быть, он не уехал, вздор!» Она не хотела этому верить. Прошла неделя. Оказалось, что действительно Летищев бежал из Петербурга от долгов. Что было с Катей, когда она удостоверилась в этом, я не знаю, только, говорят, после страшной сцены с теткой и сестрой она отослала все подарки Летищева к его дяде, несмотря на все их сопротивление. Граф возвратил ей эти вещи при очень вежливом письме, в котором умолял ее, чтобы она не печалилась о его негодяе-родственнике, что он принимает в ней искреннее участие, что от нее зависит жить в богатстве и счастья и что он за высочайшее для себя наслаждение почтет удовлетворять все ее малейшие желания и прихоти, и проч.

Катя прочла это письмо и вместе с возвращенными вещами бросила их в физиономию его домашнего секретаря, который уже смотрел на нее с подобострастием как на будущую свою повелительницу.

С этих пор Кате, говорят, не было житья ни от тетки, ни от сестры. Подруги ее, жившие в богатстве и спокойствии на содержании, прекратили с ней всякие сношения как с без-

нравственной девушкой. Катя слегла в постель, потом немного поправилась; потом ей сделалось хуже, и через три месяца она умерла в чахотке.

Если бы, при своей пустоте и легкомыслии, она не имела любящего сердца, она бы, верно, осталась жива, была бы спокойна, счастлива, весела; она, подобно своим подругам, с самодовольством и гордостью до сих пор порхала бы по сцене, встречаемая восторженными рукоплесканиями своих обожателей, принимая эти рукоплескания за должную дань своему таланту; она, подобно им, живописно развлясь в коляске, летала бы по петербургским улицам; она, подобно им, могла бы приобрести дома, капиталы или выйти замуж за какого-нибудь статского полковника и на склоне дней своих, если бы бог благословил ее детьми, увидеть еще их, пожалуй, в блестящих мундирах.

Но Кате не суждено было этого: вся беда ее заключалась в любящем сердце!..

Мне сказывали – за верность этого я не ручаюсь, – что Летищев отказался от большей части своих векселей, отзываясь тем, что они



подписаны были им до его совершеннолетия; что он написал письмо к дяде, и, раскаиваясь в своем прошедшем, умолял спасти его, избавить от тюрьмы, от позора и уплатить за него по тем векселям, которые он дал, будучи уже совершеннолетним; что великодушный дядя, тронутый его раскаянием и покорностью, пригрозив сначала ростовщикам, уплатил по этим векселям по 20 коп. за рубль, и что Летищеву осталась одна маленькая деревенька, в которой он сокрылся от всех треволнений.

Арбатов долго без ужаса не мог говорить о нем. «Такого пятна, – говорил он – и весь трясся от волнения, – какое нанес Летищев театралам, еще в летописях наших не было примера. Это ужасно!»

По его настоянию имя Летищева было исключено из летописи театралов, и до сих пор ни один театрал не произносит этого имени без благородного негодования.

### III. Зрелый возраст

После бегства из Петербурга Летищева и смерти Кати Торкачевой прошло несколько лет. Граф Каленский умер, оставив свое имение прямым своим наследникам, с обязательством выплатить, между прочим, французской артистке Кларе Бовалон одновременно двадцать пять тысяч серебром и Летищеву, также одновременно, десять тысяч; «ибо (так сказано было в духовном завещании касательно Летищева) еще при жизни моей уплачены были мною значительные суммы по его заемным письмам, снисходя его молодости и легкомысленным поступкам, что составит, с ныне завещаемыми мною десятью тысячами рублей, такой капитал, который мог бы обеспечить жизнь человека скромного и нравственного, дорожащего именем своих предков и честью; следовательно, в отношении сего свойственника моего я все сделал, что повелевала совесть...»

Князь Арбатов, доставший эту выписку из духовного завещания, показывал ее всем своим знакомым и прибавлял:

– Почтенный старик и в могилу-то сошел преждевременно по милости этого пустого мальчишки. Когда старику сказали, что имя Летищева выставлено на черной доске в нашей главной квартире и вымарано из книги театралов, он побледнел и едва, говорят, устоял на ногах!..

Новые поколения театралов сменялись одно за другим. О Летищеве никто бы и не подозревал из этих господ, если бы не князь Арбатов, который в поучение новичкам считал священным долгом передавать каждому его историю с Катей Торкачевой, и при этом, описывая красоту Кати, всякий раз растрогивался до слез. Однако в последние минуты, как истинный христианин прощая врагов своих, он простил, говорят, между прочим, и Летищева...

Я решительно забыл о существовании Летищева: в театры я ездил редко, с князем Арбатовым почти не встречался, и ничто окружавшее меня не могло напомнить мне ни о театральстве вообще, ни о моем старом товарище в особенности, – как вдруг однажды я получаю письмо, распечатываю, почерк как

будто знаком, смотрю на подпись: Летищев. Письмо было довольно длинно, и я приступил к чтению его не без любопытства.

Вот оно, слово в слово:

«Старый товарищ и любезный друг! Я уверен, что ты не совсем забыл обо мне в шумных удовольствиях столицы. Я, по крайней мере, очень помню о тебе, потому что всегда любил тебя искренно. Сколько времени прошло с тех пор, как мы расстались! стыдно тебе, что ты не написал мне ни одной строки о себе. Вы, люди столичные, ужасные эгоисты, а мы, провинциалы, не таковы. Я тебе расскажу о моей прошедшей жизни и сообщу тебе мою настоящую радость, которую, верно, ты разделишь по старой памяти ко мне. Живу я, братец, благодаря бога, недурно, в довольстве, даже в роскоши (по-нашему, по-провинциальному); но мы во многом, может быть, не уступим и вам, столичным. Имение мое порядочное: я устроил его так, что в хороший год получаю до восьми тысяч серебром; к тому же оно расположено на одном из самых живописных мест в целой губернии. Я знаю, что ты как поэт пришел бы в восторг от Николь-

ского – моей резиденции. Окрестности – это просто маленькая Швейцария. Дом мой устроен со вкусом – ты, верно, отдал бы мне справедливость, если бы увидел его; у меня махровые розы величиною с пионы. О таких у вас, в Петербурге, не имеют понятия. Я сделался страшным любителем флоры. Словом, я здесь устроился так, как нельзя лучше: я перенес в деревню весь столичный комфорт, без которого, признаться, я не мог бы нигде жить. На днях были у меня губернатор и предводитель дворянства, с которыми я очень хорош, и вообще меня здесь все любят. Губернатор сказал мне: «Признаюсь, ваше Никольское – маленький рай. Не выехал бы из него». Повар у меня отличный, так что губернатор просил меня прислать к нему своего мальчика в ученье. Вина я выписываю от Депре. После обеда мы втроем расселись на балконе. День был чудесный, жаркий. Я велел подать бутылку редерера, и мы, попивая, наслаждались очаровательнейшим видом. Нет, брат, что ни говори, а и деревенская жизнь имеет свои прелести. Надобно тебе сказать, что я выбран уездным предводителем единогласно: ни од-

ного черного шара. Это показывает тебе, как расположено ко мне все дворянство. Соперником моим был некто Расторгуев, человек очень богатый и с весом, нажившийся взятками; однако его лихо прокатили на черных. У меня, любезный друг, такое собрание vieux saхе'ов, какому бы позавидовали многие из наших аристократов: штук до полутора тончайших. Комнату, в которой они расставлены на консолях, я назвал Саксонской. Жаль только, что здесь некому ценить моей коллекции: все эти помещики люди добрые, но страшные невежды и не умеют отличить саксов от мальцевских фарфоровых изделий... черт знает что за народ! Отгадай, кто мой ближайший сосед... тебе, верно, никак не придет в голову... Скуляков! помнишь, которого мы называли в пансионе костоломом. У него, в пяти верстах от меня, душ тридцать или сорок, он один-одинехонек, мать его умерла, – все такой же чудак. Живет в простой крестьянской избе, два сруба сдвинул вместе – и очень доволен; ни к кому не показывается, но ко мне заглядывает частенько: меня любит. Я его просил переселиться ко

мне, соблазнял своим поваром; но он отказался. Вообрази, как-то на днях он обедал у меня; подали трюфели *a la serviette* (я провизию выписываю из Москвы)... он попробовал и есть не стал. «Точно, – говорит, – пробки», а трюфели были отличные, французские, присланные мне Морелем. «Ты, – говорит, – извини меня, но я наши русские грибы предпочитаю». Я не знаю человека, у которого менее был бы развит вкус: квас предпочитает лафиту, а трюфелям грузди! Впрочем, малый он вышел славный и страшный патриот. Он много читает, даже выписывает ваши петербургские журналы, несмотря на то, что по его средствам это уже роскошь. Он философ, потому что вообще довольствуется малым. Что касается до меня, я философии никогда не понимал, и меня удивляют люди, подобные Скулякову. Может быть, они и счастливы по-своему; но мы, привыкшие с детства жить как порядочные люди, не в состоянии, братец, понять этого грубого счастья; нам – что с нами будешь делать! – нужны и саксы, и трюфели, и бутылка доброго старого лафита. Избалованы мы, дружок, страшно избалованы!..

Но я заболтался, а не сказал тебе еще самого главного – моего счастья, моей радости. При всех удобствах моей деревенской жизни я все-таки страшно скучал: в деревне долго жить одному нет никакой возможности. Несмотря на то, что валяешься на мягких мебелиях, смотришь на хорошие картины (у меня, братец, есть, между прочим, два настоящих Перуджино и один великолепный Грёз), несмотря на то, что ешь и пьешь хорошо, а все недостает чего-то... Я начал это чувствовать особенно сильно в последнее время и понял, что в доме без хозяйки плохо. В верстах сорока от меня есть село – пятьсот душ и пропасть земли, в одной меже: десятин по двенадцати на душу; а это в наших местах редкость. Село это именуется Шмелево, Рагузино тож. Барский дом, каменный, старинный. Крестьяне зажиточные. Проезжая через это имение, я всегда любовался им. Я знал, что оно принадлежит старушке, вдове генерал-майора Рагузина, которая года два назад тому, возвратясь из-за границы с своей единственной дочерью, поселилась тут. Я много слышал о них от нашего губернского предво-



дителя и от губернатора. Оба они отзывались о матери и в особенности о дочери с величайшею похвалою. Предводитель не раз говорил мне, что дочь просто красавица и получила самое утонченное европейское образование, и при этом всегда потреплет меня, бывало, по брюху (а надобно тебе сказать, что я порастолстел-таки порядочно на вольном воздухе) и прибавит: «Вот бы вам, батюшка, невеста!» Я смеялся. Невеста да невеста – так она и прослыла моею невестою почти в целой губернии, хотя мы друг друга в глаза не видели. И всякий раз, когда при мне заговаривали о ней, я чувствовал, сам не знаю отчего, какое – то невольное волнение, а знакомство все откладывал да откладывал. Меня останавливала, правду тебе сказать, боязнь, чтобы не подумали, что я хочу жениться по расчету. Брак по расчету всегда казался мне отвратительным, на такой брак я никогда не был способен... Месяца два тому назад, накануне Петра и Павла (приходский праздник в Шмелеве), возвратясь вечером после прогулки домой, я думаю: «А что, не поехать ли мне завтра в шмелевскую церковь к обедне?..» Как мне

пришла эта мысль в голову, я до сих пор не могу понять. Всю ночь я грезил шмелевской барышней, встал рано, да и велел закладывать лошадей. Подъезжая к Шмелеву, у меня так и забилося сердце. Вхожу в церковь – все расступились передо мною; я прохожу вперед и становлюсь у правого клироса. Помолясь усердно, с каким-то особенным чувством, так, как давно не молился, я осмотрелся кругом. Вижу: у левого клироса, на ковре, стоят мать и дочь. Как я взглянул на дочь, так и обомлел: все описания ее оказались жалки и бледны сравнительно с тем, что она на самом деле. Вообрази себе в полном смысле красавицу: больше, чем среднего роста, талия – чудо, волосы как смоль и коса ниже колен, карие дивные глаза, аристократический профиль, некоторая бледность в лице. Одевается – прелесть! Словом, совершенство!.. Чтобы дать тебе о ней еще более ясное понятие, я скажу тебе, что она напоминает портреты Марии-Антуанетты – только en beau. И как она горячо и усердно молилась, если бы ты видел! Это обстоятельство меня окончательно расположило в ее пользу. Смотри на нее молящую-

ся, я увидел, что эта девушка получила нравственное, солидное, религиозное воспитание, что это именно одна из тех девушек, которая может составить счастье человека. Теперь, когда я уже близко знаю ее, я вполне убедился в этом. Она добра и кротка, как ангел. Скуляков ее знает – и даже этот мизантроп от нее в восторге. По рождению она аристократка. Мать Рагузиной – ближайшая родственница князьям Волынцевым. После обедни я подошел к старухе и сам представил ей себя, а старуха представила меня дочери и пригласила провести этот день с ними. Я, разумеется, не отказался. Старуха – тоже прелесть, настоящего старого аристократического закала, с седыми пуклями под чепцом. Когда они были в Париже, к ним ездили все сен-жерменские знаменитости, вся старая французская аристократия... Веришь ли, с первого взгляда на мою Alexandrine я почувствовал такую страстную, такую горячую любовь, о какой я до тех пор не имел никакого понятия. Какая-то непреодолимая симпатия вдруг привлекла меня к ней. Нельзя не верить сочувствию душ. Тут только я понял, что к Кате

Торкачевай я никогда не чувствовал настоящей любви, что это было мальчишеское увлечение, что я волочился за нею так только, чтобы не отставать от других, и вспомнил твои слова, за которые я, бывало, на тебя сердился. Да, ты был прав, тысячу раз прав! Мне теперь стыдно и совестно вспоминать о моих глупостях и проделках. А ведь Катя меня любила!.. Бедная девушка! В день ее смерти я аккуратно каждый год служу по ней панихиду.

С незабвенного для меня дня Петра и Павла я начал чаще и чаще ездить к Рагузиным, и всякий приезд к ним открывал в Alexandrine какие-нибудь новые достоинства. Представь себе! У нее чистейший парижский выговор и такая ножка, какой никогда и во сне не видала ни одна из наших танцовщиц. Все башмаки, которые хранятся в главной квартире театралов, не исключая и башмака Тальони, ей не годятся даже для туфлей. О, если бы Арбатов увидал эту ножку, что он сказал бы!.. Кстати, выдаешь ли ты Арбатова, и неужели он все еще вооружен против меня и смотрит на глупость молодости, как на преступление? Что Броницын? все лезет в гору?

Что, он все еще живет с Прохоровой или уж забыл о своем театральстве?.. Напиши обо всем... А для меня, братец, все это прошедшее кажется теперь чем-то баснословным, хотя, признаться, если бы я приехал в Петербург и отправился в Большой театр, то мои старые театральные кости, мне кажется, еще расходились бы...

Но все это глупость, mon cher. Истинное счастье – счастье семейное, а Катя никогда не могла бы составить моего счастья, потому что нас разделяла бездна, и мы не могли понимать друг друга. Рождение и воспитание много, милый друг, значат... Только одинаково рожденные и воспитанные могут чувствовать настоящую симпатию друг к другу... И если бы ты знал, как твоего толстого приятеля любит его невеста!..

Поздравь же меня; я счастлив, я женюсь, я начинаю, братец, гордиться собой и находить, что во мне есть действительно что-нибудь: иначе я не возбуждал бы к себе чувства любви. В то же время я чувствую, что я не стою моей Alexandrine: она и умнее, и образованнее меня во сто раз... Всю эту вашу литера-

туру и политику знает наизусть. Не смейся, ей-богу, правда... Она меня просто удивляет. В приданое за ней мать отдает Шмелеве, пятьсот душ и, кроме того, земли в Крыму, овцеводство и значительный капитал; но я об этом мало забочусь, потому что имею свой кусок хлеба и ни на минуту не задумался бы жениться на ней, если бы она ровно ничего не имела. Порадуйся же, эгоист, счастию твоего старого товарища. В моей женитьбе есть какое-то предопределение свыше; знакомство с нею в церкви – это тоже добрый знак. Я на днях ездил в Ипатьевскую пустынь по обещанию. Я наложил на себя этот обет заранее, если все счастливо кончится. Беседовал с игуменом. Он и меня, и ее давно знает, поздравлял меня и сказал, что бог благословит наш брак, потому что «ваша невеста (это его собственные слова) богобоязливая и прибежная к церкви...». И это действительно справедливо. Ах, как она молится, если бы ты видел!.. Теперь у меня хлопот полны руки: разные закупки и выписки из Москвы и из Петербурга. Карету я выписываю от Фребелиуса... карета темно-синяя, а обивка внутри цвета Marie-

Louise: это будет недурно... Помещики здешние, проведав о моих затеях, удивляются и ахают: им все в диковину, и каждая вещь кажется им разорением. Совершенные дикари! Что делать? Моя слабость, чтобы все было у меня порядочно, по-барски. Прощай! Обнимаю тебя. Может быть, увидимся в Петербурге, и скоро, а до тех пор не забывай меня и напиши мне, гадкий эгоист, в ответ на мое длинное послание хоть несколько строчек... Когда мы свидимся в Петербурге, ты увидишь, что я еще, впрочем, не совсем опрощившился и, как говорится, не левой ногой нос сморкаю. Еще раз обнимаю тебя от души и повторяю: пиши! пиши!

P. S. Я о тебе много говорил моей нареченной. Она тебе кланяется и горит нетерпением тебя увидеть, потому что по моим словам полюбила тебя заочно».

После этого письма я в течение многих лет ни от кого не слышал о Летищеве и не получал уже более от него никаких писем.

Года три тому назад, в одно солнечное и морозное утро, я зашел в какой-то кафе – ресторан на Невском проспекте и в ожидании

чашки кофе перелистывал газету, лежавшую передо мною. Вдруг дверь ресторана с шумом отворилась, ударившись об угол стола, так что все присутствовавшие, в том числе и я, невольно обратились на этот шум. В двери с трудом влезала медвежья шуба и, распахнувшись, обнаружила пыхтящее тело невероятной толщины, за которым следовал жиденький и белобрысенький молодой человек с застывшей на лице улыбкой. Тело в медвежьей шубе остановилось посреди комнаты, осмотрелось кругом и, полуоборотом взглянув на молодого человека, следовавшего за ним, произнесло:

– Фу, какая жара! фу!.. А что, братец, закусить хочешь? спрашивай себе, что хочешь, дружок. Мне смертельно есть хочется...

Молодой человек наклонил на эти слова свою головку и придал своей неподвижной улыбке приятность посредством расширения рта.

– Эй, ты, мусье! – вырвался пронзительный, тоненький голосок из тучного тела, которое обернулось к лакею, – подай карту, покажи, что у вас там есть; накорми нас, милый



друг, посытнее да повкуснее: мы вот с ним проголодались... Фу! Фу!

Этот голосок, выходявший из тучного тела, показался мне будто несколько знакомым.

– Ба, ба, ба!.. – При этих звуках из медвежьей шубы высунулись руки и простерлись ко мне. – Вот встреча, вот встреча!.. Фу!.. Да что ты так выпучил – то на меня глаза? Не узнаешь, в самом деле, что ли?.. Летищев, братец... он сам, своей персоной.

И он навалился на меня, обнимая и целуя меня.

После этих объятий я долго не мог оправиться.

«Неужели это действительно Летищев, – думал я, – тот самый, который некогда в блестящем гвардейском мундире, с перетянутой талией, живой и вертлявый, волочился за Катей Торкачевой?..»

– Я, кажется, привел тебя в изумление моей корпоренцией? – продолжал Летищев. – Что ж? фигура, братец, почтенная, не правда ли? настоящая предводительская! Ну, как ты, голубчик, поживаешь? Ты не меняешься ничего... Сразу узнал тебя. Я на тебя, братец, сер-

дит, очень сердит... Фу... экая жара! Ну, как это можно, в продолжение пятнадцати лет ни строчки! На что это похоже!.. А я все-таки хотел к тебе сегодня же заехать. Я ведь только третьего дня ввалился в вашу Северную Пальмиру, еще никого не видал, ни у кого не был. Вчера целый день отдыхал после дороги. *Charme, charme de te voir, mon cher*, очень, очень рад!

И он жал мне руку.

– Однако, брат, дружеские излияния сами по себе, а желудок сам по себе. Желудка дружбой не накормишь... Я страшно отоцал, должно быть оттого что прошелся... Я ведь, братец, ходить не привык, в деревне мы ходим мало... У меня там такой кабриолетик на лежачих рессорах... я нарочно, по своему вкусу, заказал в Москве... вот спроси у него...

Он ткнул пальцем на молодого человека.

– Прекрасный экипажец! – проговорил молодой человек.

– А я тебе не рекомендовал еще этого юношу-то? Имею честь представить: это, брат, мой секретарь... Я без него пропал бы здесь. Все эти покупки, закупки, счета и расчеты –

это уж его дело... Мусье! любезнейший! ну, что ж карту-то!..

– Карты нет-с; а что прикажете, – отвечал лакей, – вот закуски здесь на столе-с.

– Ну, какие у вас там закуски! мерзость какая-нибудь! а велика мне изготовить лучше две хорошие сочные котлеты... Да вот и юноше-то подай чего-нибудь... Чего ты хочешь?..

Секретарь переминался и ухмылялся.

– Да полно церемониться-то! этакой ты гусь, право! ешь, что душе угодно, спрашивай себе, чего хочешь, и плати, сколько вздумаешь. Деньги ведь в твоём распоряжении... Я, братец, и денег с собой не ношу: все у него, он у меня и министр финансов... Эй, вы, котлет-то подайте мне скорей! а покуда, чтоб заморить червяка, дайте хоть две-три тартинки с чем-нибудь... Ну, уж ваш Петербург! беда! – продолжал он, разжевывая тартинку, – с ума сойдешь от этих одних визитов... бабушки, да тетушки, да министры, да гофмейстеры, да церемониймейстеры... Рожу-то мою все знают: не скроешь ее от них... Сегодня утром в десять часов уж напялил на себя мундир и успел побывать у двух почтенных старцев и

принят был, братец, ими просто вот как!

Он приложил свои пальцы к губам и чмокнул.

– Любят меня почему-то, помнят... дай бог им здоровья. Один из них сказал мне, между прочим: «Я, – говорит, – еще помню тебя юнкером; тебя, – говорит, – фельдмаршал называл всегда молодцом и очень любил тебя». Старец, а ведь память – то какая!.. Ну, однако, расскажи, как ты поживаешь, как идут твои делишки?..

– Ничего, так себе... Ты приехал надолго?

– Да сам не знаю, голубчик! надо представляться разным высоким особам, из которых некоторые, судя по намеку почтенного старца, изъявляют сильное желание меня видеть. На что я им? вот спроси! Объезжу весь ваш петербургский monde и закончив эту процедуру, займусь своим дельцем: ведь у меня процесс еще, братец, в триста тысяч рублей серебром – *bagatelle*! Ты знаешь, что значит процесс?.. А! да вот и котлеты!

При виде котлет глаза Летищева заискрились, и он начал беспокойно облизывать губы, тыкая нетерпеливо за галстух салфетку.

– Нельзя, братец, без этого, а то закапаешь себе рубашку: возвышение-то это проклятое мешает.

Он указал на свой живот и залился добродушным смехом, обнаружив при этом десны и маленькие гнилые и почерневшие зубы, едва в них державшиеся.

– Экое дерево! – сказал он, ткнув вилкой котлетку, – не умеют и котлетку-то порядочно приготовить, – а еще Петербург!.. Не стыдно тебе это?

Он посмотрел на лакея.

– Да знаешь ли, что у меня, в деревне, последний поваренок приготовит лучше этого?.. Эх, вы!.. Я, братец, вчера вечером (он обратился от лакея ко мне) задал такую гонку вашему Дюссо. Я ведь его не знаю: при мне еще был Фёльет и Легран... Слышу от всех приезжих: Дюссо да Дюссо! Ну, думаю себе, попробую я этого хваленого Дюссо. Приезжаю. Заказал ужин. Говорю: «Дайте мне всего, что есть у вас лучшего». Кажется, ясно?.. Подают мне первым блюдом филе из ершей... Ну, что ж это, братец, за блюдо? просто какой-то воздух с травой и прованским маслом, и масло-то

еще не свежее. Я на сцену моего старого друга Симона. «Позови-ка мне, – говорю я, – твоего Дюссо-то: я с ним потолкую кое о чем». Приходит этакая приземистая фигурка, вертится передо мною и говорит: «Monsieur, qu'y a t'il pour votre ser vice?..» Я посмотрел на него и говорю:

– Вы меня не знаете, а?

– Non, monsieur, pardon.

– То-то pardon! А вот вы спросите-ка обо мне лучше вашего Симона, так он вам порасскажет кое-что, кто я и прочее... Я вот тоже не имею удовольствия знать вас, потому что проживаю в своих деревнях и в Петербург езжу редко; а предместников ваших Фёльета и Леграна знал коротко, и они меня коротко знали и любили. Я здесь оставил тысяч до пятнадцати, – следовательно, хоть на столько приобрел вкуса, чтобы отличить дурное масло от хорошего... Вы понимаете меня?.. Я купил, говорю, себе право этими пятнадцатью тысячами быть несколько взыскательнее других... Ни Фёльет, ни Легран мне такого масла не смели подавать; а вы думаете, что вот приехал человек, вам не известный, в первый

раз, провинциал какой-нибудь, так, дескать, и подсуну ему что ни попало. Ошибаетесь, я говорю, г. Дюссо, ошибаетесь, не на такого напали: я-таки в гастрономии кое – что смыслю. Вот спросите обо мне у князя Броницына, у графа Красносельского, у графа Бержицкого: это мои короткие приятели. Вы, чай, их знаете?.. «Как же, говорит, же лонёр...» – а сам переконфузился, кланяется, извиняется, затормошил всех лакеев, сам побежал на кухню, и действительно уж накормил меня превосходно. Выходя, я потрепал его по плечу и говорю: «Ну, Дюссо, теперь я не сомневаюсь, что ты артист в своем деле!..» И он был этим, братец, ужасно доволен!.. Мой юноша-то все удивляется, глядя на меня. «Вы, – говорит, – Николай Андреич, в Петербурге распорядитесь, точно как у себя в Никольском...»

– Это правда-с, – заметил молодой человек, торопливо проглатывая кусок и спеша улыбнуться.

– Чудак ты! чему тут удивляться? – заметил Летищев, посмотрев на него благосклонно. – Ведь я, слава богу, Петербург-то знаю, пожил-таки в нем, познакомился с ним, вот

спроси-ка у него (он указал на меня). Я тысячу до ста серебром бросил в его ненасытную пасть: так уж после этого церемониться с ним не могу, прошу извинить... Однако не пора ли нам, господин секретарь? который час?

Он вынул толстые золотые часы на толстой цепочке и произнес:

– Эге-ге! уж около трех... Вот, братец, часы-то рекомендую: этих часов само солнце спрашивается. Посмотри, внутренность-то какая.

Летищев попробовал открыть внутреннюю дощечку.

– Нет, не открываются, черт их возьми! – пробормотал он, – боюсь, еще ноготь сломишь. – И он положил их в карман, прибавив: – за эти часы мне пятьсот рублей серебром давал в Москве Митька Перелезин. Ты знаешь его?.. Ну, секретарь, отправимся путешествовать по магазинам... Сколько комиссий надавали! А пуще всего меня беспокоит это модное тряпье: блонды да гипюры, да шляпки, да эти разные фалбалы. Еще, пожалуй, не угодишь. Впрочем, нет, моя жена не такова... Мы с ней живем душа в душу... вот



спроси у него... Это ангел доброты, et c'est une femme distinguee, mais tout a fait distinguee, mon cher. Я уверен, что ты был бы от нее в восторге и полюбил бы ее... Поручила мне, братец, целую библиотеку закупить... Куда это мы все уложим только в Москве, я не знаю: ведь в дормез нам не поместить всего?.. как ты думаешь, юноша?

– Да-с, трудновато будет-с, – отвечал секретарь.

– То-то, братец! Надо будет об этом серьезно подумать.

– Не беспокойтесь, – возразил секретарь, – уж как-нибудь устроим.

– То-то, смотри же...

Летищев отвел меня несколько в сторону и произнес вполголоса, кивая головой на секретаря:

– Un bon enfant, excellent... Я взял его, братец, к себе мальчишкой, нищим. Он и вырос у меня в доме и привязан ко мне и к жене, как собачонка. И ведь какой аккуратный, деловой малый! он у меня заправляет всей моей канцелярией... Ну, до свиданья, мой милый! Я к тебе первому непременно приеду, когда окон-

чу все мои важные визиты; надеюсь и ты заедешь ко мне. Я остановился у Кулона, занимаю два номера: 22-й и 23-й; ведь одного мне мало по моему сложению. В Москве так я всегда останавливаюсь в «Дрездене» и всегда занимаю 1-й номер. Там уж так и берегут его для меня: огромная комната, настоящая танцевальная зала; да я, признаться, терпеть не могу маленьких комнат: в них как-то тяжело дышать... Но я заболтался с тобой... Прощай, прощай, до свиданья... Расплатился, юноша?

– Да-с...

– Ну так марш... Au revoir, mon cher, au revoir.

И Летищев вышел из кафе-ресторана с тем же эффектом и шумом, с каким вошел, весь сияя самодовольствием и произведя сильное впечатление на всех присутствовавших.

После того, во время пребывания его в Петербурге, я встречался с ним довольно часто у наших общих знакомых. Он рассказывал нам о различных политических и административных проектах, которые будто бы переданы ему были самими министрами, по секрету; о том, как он разным значительным особам

режет, не церемонясь, правду в глаза и как эти особы взяли с него честное слово, чтобы он прямо писал к ним обо всем и не стесняясь ничем; как петербургские князья и графы, его старые приятели и товарищи, обрадовались его приезду; как один из них, еще бывший при нем в полку юнкером, объявил ему, что назначен полковым командиром того же самого полка, и как он отвечал ему на это: «Полно, Миша, полно!! Врешь, братец, ни за что не поверю. Что ты мне этакую фанаберию несешь? За кого ты, голубчик, меня принимаешь?» И как потом, удостоверясь в этом, он обнял его, поцеловал и сказал: «Ну, Мишук, от души поздравляю тебя; но признаюсь откровенно, что после этого нет в мире чудес, которым бы я не поверил!»

Мне особенно памятна длинная речь, произнесенная однажды Летищевым, когда при нем зашли толки о трудности управления именьями и о характере русского крестьянина. Он вдруг прервал разговор двух господ, очень серьезно рассуждавших об этих предметах.

– Это все не то, господа! – сказал он, – вы,

говоря откровенно, увлекаетесь различными фантазиями и фантазмагориями. Я желал бы, чтобы кто-нибудь из вас заглянул в мои имения. Я смело могу сказать, что каждый из моих крестьян благословляет свою судьбу. Правда, у них все есть, что им нужно: по три, по четыре лошади на тягло, по две коровы, – ну, и прочего скота в той же пропорции; избы у них выстроены из хорошего леса, прочно, большею частью в имении жены моей (у меня, правда, этого нет), на каменных фундаментах; оброк с них берется умеренный... Чего же им?.. Да если бы я, например, не родился тем, что я есть, я желал бы быть моим старостой Васильем Антипычем, ей-богу: у него, говорят, тысяч пятнадцать серебром капитала. Для мужика это, надеюсь, деньги! Он ходит в синем сукне, отпустил себе такой же живот, как у меня, такой видный из себя, седая огромная борода... Эта вся мелюзга однодворцы, мелкопоместные кланяются ему чуть не в пояс... Дети его все переженились, и все молодец к молодцу, народили детей в свою очередь. Внучаты пицат и копошатся около дедушки, а он только ухмыляется да поглажи-

вает себе бороду... Патриарх, настоящий патриарх!.. Я часто захожу к нему в гости. Изба у него чистая, прекрасная. Он всегда угощает меня солеными груздями или сотовым медом... чем-нибудь в этом роде... У него все это подается отлично, и всегда еще красную ярославскую салфетку расстелет на стол... Я однажды так сижу у него и говорю ему:

– Славно ты поживаешь, Василий Антипыч: всего у тебя вдоволь, всем бог тебя благословил; а денег-то у тебя, я чай, и куры не клюют.

– И, батюшка Николай Андреич! – говорит (плут страшный – прикинулся таким смиренным и кланяется мне в пояс). – Что изво-лите, – говорит, – шутить: уж какие у нас деньги, откуда взять мужику денег!

– Ну полно, полно! – говорю, – знаем мы тебя. Что скрывать-то. Я ведь у тебя денег твоих не отниму...

– Да что, – говорит, – батюшка, я вам правду скажу, как перед богом: вы отцы наши, от вас скрывать не приходится. По милости вашей скопил маленько.

– Ну, – я говорю, – отчего же ты, братец, у

меня не откупишься со всей семьей, али боишься, что я с тебя сдеру много?

Старик мой так и расходился.

– Да помилуйте, – говорит, – батюшка! зачем мне откупаться от вас? да сохрани меня господи и помилуй от этого! Я, – говорит, – честью служил вашему дедушке, вашему родителю, вам теперича служу: да мы у вас, как у Христа за пазухой... Что это вы говорить изволите! На что мне, – говорит, – воля-то, на что? Мы, – говорит, – искони-де к вашему роду приписаны: так, – говорит, – за вами и останемся на веки вечные... Я и детям-то своим заказал, да и внучатам-то закажу служить вашим детям и внучатам.

– Да детей-то у меня, старина, нет – вот мое горе...

– Помолитесь-ка, – говорит, – поусердней, батюшка, так господь пошлет... И мы, грешные, ваши рабы, об этом помолимся. А у самого слезы на глазах, и меня тронул до слез. Летищев произнес последние слова дрожащим голосом и прибавил через минуту:

– Вот он, господа, неиспорченный-то русский человек, как есть и каким должен быть!

Некоторые смотрели на Летищева с негодованием, другие как на шута; находились и такие, которые принимали его серьезно. Он не замечал этих различных впечатлений, производимых им, и обращался ко всем одинаково радушно и сияя самодовольствием.

Однажды, когда мы сидели с ним вдвоем, он стал передавать мне о своей жене, о их взаимных отношениях и любви друг к другу, по поводу полученного от нее письма. Он был действительно взволнован и растроган, и слезы так и капали у него из глаз.

– Нет, душенька, – говорил он, – здесь у вас хорошо, все ваши тузы здешние меня ласкают; но дома все-таки лучше. Так и тянет в деревню. Признаться тебе откровенно, я брат, соскучился без жены; иной раз так взгрустнется без нее, что просто мочи нет.

И он почти давился слезами. Он даже растрогал меня.

Я думал: «А может быть, в этой туше и в самом деле еще таится что-нибудь человеческое; может быть, под этим мясом бьется еще не совсем испорченное сердце; может быть, он не шутя хороший семьянин и добрый по-

мещик?..»

В его мелком тщеславии для меня было более забавного, чем оскорбляющего.

Всякий раз, например, когда мы выходили откуда-нибудь вместе и когда он влезал в ямскую карету (в санях и особенно на простом извозчике он ни за что не решился бы проехать), он непременно кричал извозчику: «Пошел к князю такому» или «графу такому-то. Знаешь?» И извозчик его всякий раз отвечал утвердительно: «Знаю-с!» Впоследствии оказалось, что каждый из знакомых Летищева носил непременно название какого-нибудь князя или графа. Через несколько дней после отъезда Летищева этот извозчик перешел к одному барину, выезжавшему в большой свет. Барин приказал ему однажды возить себя к княгине Б\*. Извозчик отвечал: «Знаю-с» – и махнул кнутом.

Он воз его, воз и наконец остановился. Барин вышел из кареты и, к изумлению своему, увидел себя в какой-то незнакомой улице.

– Что это значит? куда ты привез меня, болван? Барин очень рассердился.

– Как куда! к княгине Б\*... Слава богу, я



ведь знаю. Я ездил с Николай Андреичем...

– Что ты врешь? Какой Николай Андреич? – вскрикнул барин.

– Какой? Летищев Николай Андреич. Да уж не извольте, батюшка, беспокоиться: княгиня тут живет. Мы с Николай Андреичем у их сиятельства-то почитай всякий день бывали: как не знать!

Извозчика трудно было убедить, что княгиня живет не тут, он твердил все одно: «Николай Андреич... они уж всех князей знают, у них уж все знакомство такое». Барин от гнева перешел к смеху, и через несколько дней это сделалось известно всему Петербургу и самой княгине Б\*, которая и не подозревала о существовании Летищева.

Слабость моя к Летищеву доходила до того, что мне даже было больно смотреть на него, когда он, на улице, в ресторанах и в театрах, бросался к своим старым товарищам, князьям и разным светским людям с растопыренными руками, с криками, с восторгом, с простодушными улыбками и был встречаем холодными словами и полупоклонами. На него, однако, ничего не действовало: он продолжал

лезть к ним и кричать: топ амі рінсе Броницын или Павлуша Броницын.

Я был свидетелем один раз встречи Летищева, вскоре после его приезда в Петербург, с бароном Щелкаловым в театре во время между действия. Он был с Щелкаловым некогда в приятельских отношениях и на ты. Пробираясь и пыхтя в толпе, Летищев наткнулся животом своим на Щелкалова, шедшего ему навстречу. Щелкалов сделал движение назад, бросил на него взгляд свысока, отвернулся и начал смотреть на ложи.

– Душенька! здравствуй, братец! как я рад!

И Летищев ухватился за обшлаг его фрака, не замечая, что тот отворачивается от него. Щелкалов сдвинул брови и вставил в глаз стеклышко, осмотрев его с недоумением.

– Вот что значит заpastись такою горкою! – завизжал Летищев простодушно и обвел рукою кругом себя, – и старые друзья не узнают!.. Летищева помнишь?..

Щелкалов сделал движение губами, еще раз свысока взглянул на него и произнес сухо и резко: «А!», пробормотав несколько несвязных слов: «Очень рад... да... потолстел... отку-

да?..»

Летищев хотел обнять его; но Щелкалов почти отвел от себя его руки и, сделав шаг вперед, натолкнулся на Броницына, коснулся его плеча и, кивнув назад головой на Летищева, произнес громко: «Каков? недурен барин» – и самодовольно прошел дальше, не подозревая того, что Броницын, в свою очередь, обратился к какому-то своему приятелю и, с язвительной гримасой указав на Щелкалова, произнес:

– Тоже хорош!..

Летищев пробыл в Петербурге около месяца и накануне отъезда, ввлясь ко мне в квартиру, чуть не оборвал звонка у двери, нахвостал мне с три короба, простился со мною с величайшей нежностью и взял с меня слово, если я когда-нибудь буду проезжать через Н\*, непременно заехать к нему в деревню.

– Уж угощу, милый, дорогого гостя, – прибавил он в заключение, – вот как угощу! таким старым бургонским попотчую, какого ты отродясь не пивал!..

– Ну, а процесс-то твой? – спросил я.

– Процесс? какой процесс?.. Ах, да, да! Он

еще нескоро, но непременно кончится в мою пользу. Дело приняло такой оборот. Это, между нами, мне шепнул на ухо один почтенный старец!..

## IV. Закат

В начале лета 185\* года я по делам совершенно неожиданно должен был ехать в Н\* губернию. В Н\* я пробыл только один день и оттуда отправился в Р\*, уездный город этой губернии, где должен был прожить по крайней мере около двух недель. Жить в уездном городе, возиться с делами и с приказными не забавно. Я вспомнил о Летищеве и о своем обещании побывать у него. Уездный судья на мои расспросы отвечал, что имение Летищева верстах в двадцати от города, что дорога туда прекрасная и что меня могут доставить менее чем в два часа.

– А вы знакомы с Николаем Андреичем? – спросил меня судья и, как мне показалось, с какою-то странною улыбкою.

– Он мой школьный товарищ, – отвечал я, – а что?

– Нет, ничего. Он хороший человек, весельчак и любит жить шибко. Кабы ему только денег побольше. Он был у нас предводителем одно время, так уж такие пиры задавал... и... так немножко...

Судья остановился.

– Да вы, пожалуйста, не стесняйтесь: говорите прямо, – возразил я.

– Порасстроился немножко, позапутался... А мы любим Николая Андреича: у него доброе сердце, хороший человек. Дай бог, чтобы все только кончилось хорошо.

– А разве с ним случилось что-нибудь особенное?

– Особенного ничего; только вот, по случаю последних обстоятельств, насчет сукна маленькая история. Его надули с сукном: подсунули гнилое. Теперь на нем денежный начет: обвиняют его в сделке с поставщиком и забаллотировали на последних выборах... Жалко... Конечно, и то сказать, что ж делать дворянству? ведь это падает на дворянство...

На другой день после этого разговора, часу в одиннадцатом, я отправился проселком в деревню Летищева. День был солнечный, солнце пекло сильно. Извилистая дорога шла между пашнями, прерывавшимися кустарником. В это лето в Н\* губернии были ужаснейшие засухи. Мелкая и черная пыль поднималась от движения лошадей и колес тарантаса

густым столбом, останавливалась в недвижимом воздухе, пронизываемая палящими солнечными лучами, ложилась пустыми слоями на поднятый верх тарантаса, на подушки, на шинель мою, на фуражку, на лицо, щекотала нос и забивалась в рот. Я задыхался от жара, беспрестанно отмахивался от пыли, от неотвязчивых и вялых мух и при всем желании никак не мог наслаждаться окружавшей меня природой – однообразными, но милыми сердцу видами. Дорога мне показалась ужасно длинной.

– Скоро ли Никольское-то? – спросил я у ямщика.

– Теперь недалеко: с версту али с две – только, – отвечал он, лениво помахивая кнутом над измученными лошаденками и приговаривая: – но-но-но!

Я высунулся из тарантаса и посмотрел на обе стороны: однообразная, мертвящая гладь кругом. «Где же эта маленькая Швейцария-то?» – подумал я, вспомнив невольно письмо ко мне Летищева.

Проехав немного, ямщик мой сказал: «А вот и Никольское!» – и указал мне кнутови-

щем на небольшую деревеньку, вправо от дороги, расположенную на совершенно ровном месте, на самом припеке, и не защищенную ни одним деревцем от солнца. При взгляде на эту кучку почерневшего и полусгнившего леса, с закопченной соломой наверху, мной овладело тоскливое чувство.

Барский дом, длинный и неуклюжий, в один этаж, с мезонином в середине с полукруглым окном, выкрашенный темно-желтой краской, с зелеными ставнями и красной крышей, стоял несколько в стороне от деревни, окруженный службами и покрывившимся некрашеным решетчатым забором, перед небольшим прудом, поросшим осокой и с одного края подернутым плесенью. Перед домом и за домом несколько тоненьких молодых полузасохших деревьев, а несколько в стороне от дома значительное пространство срубленного леса.

Вот каково было Никольское в действительности.

Подъезжая к дому, я увидел у подъезда двух безобразных алебастровых львов, более похожих на собак, вроде тех, которые украша-



ют ворота московских домов. На середине двора, перед подъездом, торчала клумба с длинными синими цветами, перемешанными с другими, имевшими вид желтых пуговок.

«Где же эти розы величиною с пионы?» — подумал я.

Наконец лошади остановились у подъезда. Я вылез из тарантаса и осмотрелся кругом: у одного из флигелей стоял какой-то мальчишка в грязной рубашонке, с вымазанным лицом и смотрел на меня, зевая; кроме этого мальчишки и петуха, разрывавшего землю в клумбе и от времени до времени гордо приподнимавшего свою головку с хохлом и подергивавшего ее в сторону, на дворе не было ни души человеческой. Когда я поднял ногу на ступеньку подъезда, из ближайшего к подъезду окна высунулась какая-то растрепанная и старая женская фигура и тотчас же спряталась. Я отворил дверь. В передней на прилавке лежал лакей, спавший богатырским сном и храпевший с каким-то особенным треском. Я растолкал его. Он вскочил, протер глаза и начал тупо смотреть на меня сквозь невольню и снова опускавшиеся веки,

принимая меня, вероятно, за продолжение своего сна. Я насилу мог растолковать ему, что я приезжий гость, приятель его барина.

– Где же твой барин? веди меня к нему.

– Барин?.. Николай Андреич? – спрашивал он с расстановками, – вам Николая Андреича надо?.. Николай Андреич почивают.

– Все равно. Веди меня к нему.

Лакей почесался, зевнул, еще раз взглянул на меня и сказал:

– Пожалуй. Ступайте за мной.

И привел меня в комнату, стены которой были увешаны старинными граведоновскими раскрашенными женскими головками, некогда украшавшими все столичные кабинеты и потом перешедшими в провинцию. В простенке стоял стол, а на столе чернильница, разные письменные принадлежности, да герротипный женский портрет и книжка какого – то романа Пиго Лебрёня в старинном переплете – все покрытое густою пылью. Шторы в комнате были опущены, а на большом кожаном диване лежал навзничь сам барин, покрытый халатом, который сбился к его ногам, с расстегнутым воротом рубашки, из-за

которой виднелась широкая грудь, заросшая густыми волосами. Грудь и живот, возвышавшийся горою, мерно колыхались от его тяжелого дыхания, оживленного небольшим носовым свистом. Рот его был полураскрыт; пот выступал на лбу крупными каплями. У головы его, на полу, лежал чубук и несколько в стороне трубка с рассыпавшимся около нее пеплом. Эта груда волновавшегося тела представляла неприятное зрелище. У меня даже дрожь пробежала при мысли, во что превратился этот некогда хорошенький мальчик, бывший в пансионе моим образцом и пленивший своими изящными манерами мою маменьку.

Я разбудил его. Он сначала тяжело приподнял отекшие веки, спокойно и бессмысленно взглянул на меня сонными глазами, потом вдруг вскрикнул, как будто испуганный видением, и начал приподниматься с дивана, опираясь на ладони рук и дико смотря на меня. Наконец он совсем пришел в себя и бросился обнимать меня.

Я нашел в нем большую перемену: он весь как-то обвис и опустился, волосы его на вис-

ках совсем поседели, на лице показались морщины. Но румянец все еще играл на щеках, или, может, это было только со сна.

– Я сдержал свое слово, – сказал я. – Ты, верно, не ждал меня?

– Никак! никак! – повторял он в некотором замешательстве, – признаюсь тебе, это такой сюрприз для меня... Как будет рада жена!.. Просто подарил, утешил, душенька!.. Только вот что обидно: ты застаешь-то нас врасплох. Ведь с нами случилось, братец, величайшее несчастье... ты ничего не слыхал? Мы прежде жили в другом моем имении, неподалеку отсюда... там у меня и дом, и сад – все это было прелесть... и вообрази, все дотла сгорело, все начисто, хоть бы что-нибудь насмех осталось. Мы сами с женой едва спаслись в том, в чем были... Такое несчастье! Ты можешь себе представить, это меня ужасно расстроило... И загорелось от поганой папироски: кто-то бросил на ковер папироску; а у меня на парадной лестнице разостланы были ковры во всю ширину. Ковер-то тлел, тлел, да вдруг как вспыхнет, и весь дом загорелся, как свеча. Все мои саксы погибли, вся женина библиотека, ста-

ринные дорогие вещи, белье, платья, посуда, – ну, словом, все, все дочиста... Вот, братец, мы и поселились поневоле в этой деревушке и в этом скверном домишке на голом месте... и сами голые. Пуще всего мне жаль моих саксов и моего Перуджино: остальное все наживное, а уж этого, брат, ты знаешь, скоро не наживешь!.. Уж ты, душенька, извини нас, если мы не угостим тебя так, как бы желали. Что делать! Теперь чем бог послал. Да, пожалуйста, ты не говори ничего жене о пожаре. Она, братец, слышать до сих пор не может об этом несчастье; это ее так расстроило, что она все еще не в своей тарелке, все не очень здорова, похудела и изменилась ужасно: она у меня вообще нервическая, а с нервическими женщинами, mon cher, беда: с ними надо иметь большую осторожность... Так не говори же ей об этом ни слова, пожалуйста, не проговоришь.

Я успокоил его уверениями, и он принялся кричать:

– Трошка! Трошка! воды! умываться, одеваться!.. И потом опять обратился ко мне:

– Ты, братец, совсем в арапа превратился

от нашего чернозема... Скорей воды! Трошка!.. Я, братец, горю нетерпением представить тебя жене моей... Поди скажи барыне, что я, дескать, сейчас приведу к ней нежданного дорогого гостя... Как я рад тебе! ты не поверишь, как рад! А знаешь ли, что мне взбрело в голову? Не послать ли за Скуляковым. Он сейчас прикатит, он тебе обрадуется – я знаю; вместе проведем время, вспомним старину...

– Я тебя только хотел просить об этом, – перебил я.

– Ну, и прекрасно!.. Трошка! Трошка! Трошка долго не являлся на крик барина.

Барин начал свистать, хлопать в ладоши, стучать ногой в пол, кричать: «Эге! эй, вы!» и проч. и взбудоражил своими криками весь дом. Тогда не только Трошка, сбежалась вся дворня, тоже как будто со сна. Распоряжения о посылке экипажа за Скуляковым были сделаны. Мы умылись, оделись и отправились в гостиную. Сборная мебель в этой комнате была расставлена в умышленном беспорядке, так что почти проходу не было; на столе лежали какие-то книжки с картинками и стоял рыцарь в коротенькой кацавейке с капюшо-

ном, с позолоченными ляжками и икрами и со вздернутыми кверху носками туфель, державший на полке солнечную лампу; перед средним диваном разостлан был коврик, а по углам торчали какие-то засохшие растения. Во всем претензия и хвастовство при отсутствии средств, все напоказ для других, а не для себя, нигде уюта и удобства. В этом доме охватывала нового человека тоска и чувствовалось отсутствие жизни. В гостиной никого не было. Летищев подошел к закрытой двери, которая, вероятно, вела на половину хозяйки, начал стучать в дверь и кричать:

– Душенька, душенька! я привел к тебе гостя... Слабый голос отвечал на этот крик:

– Сейчас...

В ожидании хозяйки я подошел к двери, выходящей в садик. В этом садике вместо деревьев торчали тоненькие палки с засохшими и скорчившимися на них листиками между кое-где прорывавшеюся зеленью. Против этой двери шла дорожка, усыпанная песком, упиравшаяся в некрашенный забор; а посредине ее стояла какая-то печальная фигура женщины с поднятою рукою, на пьедестале, кото-

рый был закрыт цветами, повесившими головки.

Через несколько минут хозяйка дома вошла в комнату. Ей казалось на вид лет около тридцати. Черты лица ее были неправильны, но имели выражение симпатическое. Густые и темные волосы, зачесанные гладко, но волнистые от природы, украшали ее болезненное лицо, в котором не было ни кровинки. В ее светло-карих небольших глазах выражались не то тоска, не то утомление, трудно было решить с первого взгляда. Эти глаза изредка вспыхивали, как я заметил потом, но не оживляясь, тусклым пламенем, как будто от внутренней боли, и опять потухали через мгновение... Она казалась высока от страшной худобы, и во всей ее фигуре обнаруживалось по временам нервическое подергиванье, которое особенно было заметно в движении ее бледных и тонких пальцев.

Летищев, представляя меня, назвал своим первым другом. Затем начались обыкновенные в таких случаях расспросы: «Давно ли я приехал? надолго ли? жила ли я прежде в деревне?» и прочее. Голос ее был необычно-



венно слаб, она, говоря, как будто делала некоторое усилие, иногда останавливалась посередине фразы и глухо кашляла, приставляя платок к губам. Все это с первого раза поразило меня, возбудив участие к этой женщине, и отбило всякое снисхождение к моему товарищу.

Летищев отпускал беспрестанно неуместные шутки, хохотал от них сам во все горло и хвастал перед женою своими великосветскими знакомыми, беспрестанно предлагая мне вопросы о разных князьях и графах – наших товарищах и знакомых, которых он называл Васьками, Федьками, Сашками и так далее. Здесь, рядом с своею женою, в своей домашней жизни, он уже показался мне просто гадок, так что мне стоило величайших усилий скрывать это. Когда разговор прерывался, Летищев спешил поддерживать его такого рода выходками:

– Ну, милый друг, скажи откровенно, вот при ней (он смотрел на меня и тыкал пальцем на жену), находишь ли ты во мне способность верно списывать портреты?.. Помнишь, братец, мое письмо к тебе о ней?.. Ну, вот те-

перь оригинал перед тобою: находишь сходство?

И потом обращался к ней по-французски:

– Я когда был еще женихом, так описывал ему тебя. Не думай, что я льстил тебе, ma chere, нет!.. с тех пор прошло, конечно, много времени, однако ты мало изменилась, ей-богу, мало... немножко похудела и побледнела последнее время. Бледность, впрочем, тебе к лицу.

И когда эту женщину начинало подергивать при таких выходках, он бросался к ней с участием и говорил, смотря ей прямо в глаза:

– Что это, душенька, ты, кажется, нехорошо себя чувствуешь? Ты приняла бы этих капель, что прописал тебе Карл Иванович...

Около обеда приехал Скуляков. Он так изменился, что если бы я встретился с ним где-нибудь случайно, я не узнал бы его с первого взгляда. Волосы его поседели, лицо вытянулось. Глаза были как будто менее косы; но эти глаза, несмотря на свою косину, имели привлекательность, потому что в них заметен был ум. Кротость и спокойствие, смешанные с грустью, выражались на этом лице, которое

никак нельзя было назвать дурным. В его манерах, неловких и грубоватых, не было ничего ложного и искусственного. При нем становилось легче и веселее, хотя он ничего не говорил веселого; он вносил с собою одушевление, хотя сам был одушевлен редко и говорил мало. Только по своим манерам да по сжатию кулаков он напоминал мне прежнего Скулякова. Он встретил меня радушно, но без всяких восторгов.

Мне показалось, что хозяйка дома обрадовалась, когда он вошел; у нее даже на мгновение вспыхнул румянец, и она протянула ему руку с такою приятною улыбкою, которая еще более расположила меня к ней. Так улыбаться могла только хорошая женщина.

Летищев обращался с Скуляковым с несколько покровительственным тоном, на что, по-видимому, Скуляков не обращал ни малейшего внимания. Когда мы с ним разговорились в первые минуты, вспоминая наше прошедшее, Летищев беспрестанно перебивал нас разными тупыми шуточками и восклицал, ударяя его по плечу и глядя на меня:

– Ну что, ведь такой же все чудак, как был

в пансионе, не правда ли?.. А помнишь, как я на дуэль-то хотел его вызвать? Он меня не любил в пансионе, знаю. Ну, что, дружок, хорошенького? – говорил он, хватая Скулякова за талию и как бы подсмеиваясь над ним. – Какие новости ты привез нам из своей Бологовки... Долговки... черт знает! Я всегда путаюсь в имени твоей резиденции...

– Нового? – возразил Скуляков, – видишь, вон дождик пошел.

– Аа! слава богу, слава богу... Вот ты этой нашей радости не понимаешь, братец (он обратился ко мне); а мы с ним хозяева, владельцы поместьев: так нам это любо!.. Правда, Василий Васильич?

Крикливый и пронзительный голос Летищева раздавался беспрестанно. После приезда Скулякова он каждые пять минут повторял:

– Да скоро ли обедать? Давайте обедать.

И насилу дождался этой блаженной минуты. Обед был порядочный с обыкновенным столовым вином, которое он выдавал за лафит, и вызывал меня на похвалы каждому блюду, указывая притом на жену и повторяя:

– Это все она, она у меня хозяйка; несмотря

на то, что занимается литературой вашей и разными серьезными предметами, а и хозяйственной частью не пренебрегает...

– Полно, пожалуйста, какая я хозяйка! – перебивала она умоляющим голосом.

– Ну, сделай милость! К чему излишняя скромность? – кричал Летищев. – Мы с ней во многом сходимся, – продолжал он, жуя, облизывая губы, прерывая слова глотаньем и глядя на меня, – только вот у нас с ней вечные споры насчет этой... терпеть ее не могу, проклятую... Жорж Санд... в этом мы никак сойтись не можем... Я просто отвращение, братец, чувствую к этим блумеристкам, *femmes emancipees*. Женщина должна быть женщиной, по-моему.

Летищева не отвечала на это ни слова; но лицо ее приняло такое выражение, что мне хотелось броситься на ее супруга, приколотить его и зажать ему рот. Он сам заметил неприятное впечатление, произведенное на жену его последними словами, и произнес:

– Ну, полно, душечка, полно... я шучу.

Вечером, сидя на крылечке дома, выходявшем в так называемый садик, Летищев начал

рассказывать нам, как он распространит этот сад, выроет в нем пруды, построит мостики, посадит деревьев.

– Все это примет надлежащий вид и будет очень мило... Право, душенька, – прибавил он, смотря на жену, – когда все это устроится и разрастется, ты мне скажешь спасибо, я уверен в этом.

– Я уж не увижу этого, – прошептала она.

– Опять!.. – Летищев вздрогнул при этом шепоте, и лицо его приняло боязливо – плачевное выражение. – Что это ты, ma chere! – произнес он слезливо, поцеловал ее руку и сладко посмотрел ей в глаза.

Драма, развивавшаяся в этом доме, была заметна даже для глаз ненаблюдательных. Всякий посторонний человек должен был чувствовать стеснение при виде этой жены и этого мужа.

Мне, по крайней мере, становилось нестерпимо тяжело, и я чрезвычайно обрадовался, когда на другой день вечером Скуляков предложил мне отправиться к нему в деревню. Летищев стал было противиться этому, хотел даже прибегнуть к насильственным мерам,

отдав приказание своему Трошке, чтобы не смели закладывать моего тарантаса. Я отговаривался делами, желанием побывать у Скулякова и наконец-таки настоял на своем. Мы простились с хозяевами часов около восьми вечера. Тарантас мой отправился вперед, а мы с Скуляковым пошли пешком. Летищев проводил нас с полверсты, пыхтя и задыхаясь, обнял меня на прощанье, расцеловал и даже разрюмился... Когда он исчез из виду, мне стало легче, и это ощущение все постепенно усиливалось по мере того, как мы удалялись от Никольского.

Вечер был чудесный. Все воскресло и ожило после дождя, который шел ночью и в полдень. Воздух был пропитан приятной влажностью. По очистившемуся небу проходили легкие волокнистые облака, принимавшие различные тоны и краски. Вся тяжесть спала с души моей, когда охватили меня простор полей и безмолвие вечера. Я жадно впитывал в себя благоуханные испарения земли и трав; я с наслаждением, которого давно не испытывал, смотрел на розовые, как будто таявшие в лазури облака, на мошек, которые ту-

чами вились перед нами. Мне было приятно, что мы только двое в этом просторе, что ни души не было окрест и никакого признака человеческого жилья... С каждым шагом нашим вперед местность становилась холмистее и разнообразнее. Мы спустились под гору, перешли через мостик, перекинутый через небольшую речку, поворотили направо по ее берегу и потом взяли влево к дубовой роще, которая вся облита была огнем заката и сквозила золотом.

Мы во все время ни слова не сказали друг другу: нам не приходило в голову занимать друг друга, и когда, выходя из рощи, Скуляков первый произнес: «Ну, вот и моя деревушка!», я даже вздрогнул от его голоса после этой тишины. Роща отделялась от деревни глубоким оврагом, заросшим кустами и деревьями. Деревья эти переходили на другой берег к задам изб. Домик из двух срубов, в котором жил Скуляков, совсем новенький, из толстого и прочного леса, ничем не обшитого, стоял почти у самого берега оврага и отличался только от других изб своей величиною да тесовой крышей, выкрашенной красной краской. До-



мик этот поставлен был наравне с другими избами и отделялся от них, как каждая изба от другой, только невысоким плетнем.

Здесь не было и признака того, что называется барской усадьбой. После смерти матери Скуляков сломал старый, полусгнивший барский дом, а землю из-под усадьбы отдал своим крестьянам. Новый домик его, прикрытый с задней стороны леском, выходил, как вся деревня, передним фасом на дорогу, за которой до самого горизонта тянулись холмистые пажити, прерываемые шероховатыми пространствами срубленного леса, с остатками вывороченных пней, грудами хвороста и уродливо торчавших корней... Влево чуть виднелась колокольня какого-то села.

Мы поднялись по лесенке под навесом и вошли в дом.

Он состоял из четырех комнат с оштукатуренными и выбеленными стенами. Старинная кожаная мебель с гвоздиками, оставшаяся ему после матери, была перемешана в этих комнатах с прочною, но грубою мебелью домашнего столяра. Сидеть и лежать на этих диванах и стульях было с непривычки жестко-

вато. Когда мы уселись, чтобы отдохнуть, Скуляков сказал мне:

– Извини, у меня нет мягкой мебели. Я сам вырублен грубо из простого дерева, так завел и мебель по себе.

Стены комнат его были голые: в них не было никаких украшений, ничего бесполезного. Шкап с книгами и токарный станок стояли в первой комнате, служившей ему кабинетом. Над постелью в следующей комнате висели два ружья; в комнате, где он обедал, расставлены были на простых деревянных полках самовар и разные хозяйственные принадлежности. Везде было светло и чисто. Вся дворня Скулякова заключалась в одном человеке, который был вместе его камердинером и поваром. Скуляков велел поставить самовар.

– А здесь душно, – сказал он, – пойдём-ка лучше посидим на вольном воздухе. Я не привык к комнатному, мне в четырех стенах неловко; а нам чай принесут туда. Я с охотой принял его приглашение, и мы уселись на скамейке перед домом.

Наступали сумерки; заря догорала; облака бледнели и тускли; на темневшем небе места-

ми показывались звездочки; пар начинал подниматься над полями, и тени ложились на росистую землю все шире и шире.

Нам принесли чай, и я закурил сигару.

– Как у тебя хорошо здесь! – сказал я. – Я завидую твоей простой, неизуродованной жизни... Вот какую я всегда воображал деревню...

Он улыбнулся.

– Да вольно же вам уродовать свою жизнь! – заметил он и произнес после минуты молчания: – нет, это ведь тебе так кажется... Два-три дня ты проживешь здесь с удовольствием – я поверю, – а потом начнешь скучать. Вы люди избалованные; вам просто нравится, как диковинка; вы уже сложились, господа, не так; вы и в деревню вносите с собой ваши затеи и прихоти и портите ее... Нет, что ни толкуй, ты долго не выдержал бы здесь. Это так только ты увлекаешься деревней в первую минуту...

– Не всякой же деревней, – отвечал я, – вот в деревне Летищева, например, я ни за что бы не согласился жить... А он погорел, бедный?

– Как погорел?

Я начал было передавать рассказ Летище-

ва о пожаре, но Скуляков не дослушал меня и перебил:

– Это ложь, глупая и бесстыдная ложь. Этот человек весь изолгался. Никакой такой деревни и ничего подобного у него никогда не существовало... Он совсем разорен, а все еще нос поднимает; хочет корчить богатого; да теперь у нас не найдешь в целой губернии такого дурака, которого он мог бы надуть, – а их довольно у нас. Он потерял всякий стыд, всякую совесть, крестьян разорил в прах, все обобрал у них, хлеб запродает на корню разным лицам в одно время и берет с них задатки. Для этих проделок он нарочно ездит в Москву, потому что здесь с ним никто дела не хочет иметь. В прошлом году продал он на сруб отличную дубовую рощу, которая росла у него за домом; теперь только одни пни торчат. Должен всем кругом и на заемные письма и на честное слово; везде запакостил себе дорогу; все бегут от него, – а он себе как ни в чем не бывало ходит гоголем, орет, хохочет, лезет ко всем; в карты садится с незнакомыми, выигрывает – берет, проигрывает – не платит... Э, да всех проделок его и не пересчи-

таешь!.. Пусть бы губил себя... черт с ним!.. а он загубил...

Скуляков не договорил и замолчал.

– Жена его... – начал я после минуты молчания, – это, по всему видно, отличная женщина... Но на нее смотреть тяжело... Она, кажется, еле дышит... Неужели же она вышла за него по любви?

– Ее полумертвую притащили под венец – вот по какой любви! – прервал меня Скуляков, вспыхнув, – маменька промоталась из барского тщеславия и хотела поправить дочерним браком свои делишки, а Летищев деньгами жены хотел поправить свои. Оказалось, что ни у той, ни у другого ничего не было: теща надула зятя, зять надул тещу... И какие были между ними сцены после этого брака!.. Нет! лучше уж об этом и не вспоминать. Маменька умерла: ее барская спесь не перенесла того, когда она узнала, что ее афера не удалась. Кабы одно несчастье дочери, это бы еще ничего: пусть бы дочь чахла – только бы с деньгами, которые бы она у нее обирала: тогда бы маменька до сих пор благоденствовала... И родятся же у таких матерей такие доче-

ри! Я знал жену Летищева еще девочкой: это было чудесное, необыкновенное дитя. С ранних лет она обнаружила прямоту, твердость и благородство, и несмотря на то, что мать употребляла все усилия, чтобы изуродовать и исказить ее, она не успела в этом. Воспитание ей давали самое пустое, самое внешнее, для блеска; денег на нее не щадили, за границу возили, и все из того, чтобы сделать из нее бездушную светскую куклу, – ничего не взяло: она сама себя перевоспитала. Натура-то, значит, настоящая!.. И чего она только не перенесла, бедняжка! один бог знает... Первую минуту, как ей объявили, что она должна быть непременно его женою, она не могла перенести этой мысли и чуть было не посягнула на жизнь: она хотела утопиться; за ней следили, ее спасли... Лучше бы, кажется, было не спасать!.. Потом маменька, убедясь, что угрозой с ней ничего не сделаешь, притворилась умирающей, убитою, несчастною, призвала на помощь все свое лицемерие и всю свою хитрость. Делать было нечего. Вышла она замуж:... думала покориться обстоятельствам, но когда разглядела поближе своего мужа...

ах, страшно вспоминать!.. я был невольный свидетель всего этого... вся природа ее возмутилась против этого человека, она почувствовала к нему непреодолимое отвращение: его голос, звук его шагов в соседний комнате приводили ее в содрогание... Она все это подавляла в себе, скрывала; да иногда сил не хватало: упадет, бывало, без чувств и валяется в судорогах по полу; а он ничего не понимает, бежит около нее в отчаянии, плачет, молится, крестится, ладонку ей свою на грудь вешает, сует ей спирт под нос, обливает голову холодной водой... Она очнется, взглянет, да как увидит его перед собою – еще хуже... Когда все это пройдет, она убежит в свою комнату и спрячет голову под подушку; а он за ней – это раз было при мне, начинает хныкать, кричать: «Взгляни на меня... Что с тобой, Сашенька? Я тебя, – говорит, – люблю больше жизни, а ты меня не любишь... Я, – говорит, – несчастный!» – бьет себя в грудь, валяется у нее в ногах, целует ее ноги... Он ведь не злой, сердце у него доброе... и нельзя сказать, чтобы совсем был глуп, а легкомыслие и мелочность довели его до совершенной глупости и преврати-

ли в зловреднейшего человека. Такого рода добрые сердца во сто раз хуже злых!.. Теперь уж он не пристаёт к ней так, как первое время: он, мне кажется, догадывается, что она его переносить не может, да боится в этом сознаться самому себе и обольщает себя уверениями, что ему это так кажется. Он боится действительности, как огня, он не живет действительною жизнью, а пребывает все в каких-то глупых фантазиях, которые довели его до совершенного нравственного расслабления... У нее прекратились обмороки и припадки, потому что у нее жизнь прекращается. Теперь у нее только вздрагиванья да замиранья в сердце.

Скуляков махнул рукой и отвернулся.

– Дай бог только, – продолжал он, – чтобы ей дали умереть спокойно; а то я начинаю бояться, что и этого не будет. Не сегодня-завтра земский суд нахлынет к нему, опишут все. Дворянство против него озлоблено, и поделом: он последнее время такую скверную штуку сделал... Впрочем, хорошо и дворянство, выбирающее такого рода людей!

Мы проговорили с ним чуть не до рассве-



та.

Я пробыл у Скулякова три дня, которые останутся навсегда самыми чистыми воспоминаниями в моей жизни. Ниоткуда не выезжал я с таким сожалением и ни с кем не расставался с такою грустью.

С месяц назад тому я получил от него следующее письмо:

«Обстоятельства заставляют меня прибегнуть к тебе с покорнейшею просьбою. Мне невозможно оставаться в деревне, и я решил-ся переехать в Петербург, а для того, чтобы иметь средства к существованию, должен посвятить себя службе. У тебя много знакомых: не приищешь ли ты через них какого-нибудь местечка для меня? Тебе известно, что я довольствуюсь малым и честно исполняю обязанности, которые беру на себя. Для меня дом прежде всего. Выручи меня, бога ради, отсюда. Я здесь оставаться не могу. Чем скорей, тем лучше. Ты этим меня крайне обяжешь... Жена Летищева умерла».

На днях я узнал, что незадолго до ее смерти земские власти должны были приступить к списыванию движимого имущества Лети-

щева. Скуляков предупредил это. Он отдал весь свой маленький капитал Летищеву, – не для того, чтобы спасти его от неизбежного позора, но для того, чтобы дать ей умереть спокойно.